

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин

I

Вернулся я из Кислиц расстроенный, сказал Андриану, что ужинать не пойду, ничего не хочу, а отправлюсь-ка я в дом Федора Михайловича Достоевского.

– Его там нет, – остроумно заметил Андриан. – Уже поздно, сейчас там никого нет, и вообще только сытый человек ценит одиночество.

Я знал его гостеприимство плюс уютное гостеприимство его жены, покой его просторной квартиры, знал, вздохнул и отказался. Я представлялся себе кротким и смиренным, но Андриан сказал:

– О, если бы люди могли видеть себя не только изнутри, но и снаружи! Иди, но помни, пожалуйста, что судьба каждого человека – это невыполненное обещание. Никому еще не удавалось сделать все, что он хотел или к чему был предназначен.

Из голубеньких глаз Андриана смотрел не сам Андриан, а какой-то другой человек, и этот человек, что бы там Андриан ни говорил, смотрел в эти щелки и посмеивался. Причем посмеивался он над собеседником и одновременно над самим Андрианом и как бы вместе с ним над чем-то еще. И от этого смысл слов Андриана двоился, раздражал неуловимостью – не то сказано в шутку, а может, и всерьез.

По набережной Перерытицы я отправился к дому Достоевского. Мне хотелось побыть одному, хотелось посидеть именно у этого дома, одного из немногих, какие остались на белом свете от прежней моей детской жизни.

Итак, край моего детства был уничтожен. Детство мое погибло. Я-то думал, что оно живет там, в Кислицах, на голоногих тропках вдоль малой и путаной речушки с заводами, полными головастиков, с висячими стрекозами, с коричневыми омутами, где взблескивает уклейка, что оно дожидается меня среди путей к лесобирже, заваленных толстым слоем серебристо-серой щепы.

Для Андриана дорога в Кислицы в сто двадцать километров показалась долгой. Пыльная, местами вязко-песчаная, местами вымощенная камнем еще во времена министра путей сообщения графа Клейнмихеля, а затем графов Бобринских, дорога эта ныряла в деревушки, названия которых отдавались толчком в сердце, – Хахили, Висючий Бор, Лазенки. Прочтешь – и вдруг услышишь, как где-то там, в заброшенных подземельях памяти, куда давно не спускался, где, казалось, все истлело, в ответ что-то шевельнется слабо, еле-еле вздохнет, подавая знак жизни.

От этого шевеления становится почему-то больно душе. О чем она, эта боль? И как уцелела память на эти места, за счет чего она там, под спудом, живет, ничем не питаемая память тех детских лет? Даже не память, потому что не помню начисто, как мы с отцом бывали здесь, но все же, значит, проезжали, тряслись на телеге по отцовским лесным делам, иначе бы не щемило от этих названий – Цеменка, Селищи, Беглово...

II

Я подумал о своем внуке. До сих пор я полагал, что наши игры и походы в лес, путешествия по болотам за жуками – все это с годами вовсе сотрется из памяти трех-четырехлетнего ребенка. Ведь даже от шести-семилетнего возраста у меня самого сохранились лишь отдельные картинки, неподвижные кадры без начала и конца. Так было у моих детей, я проверял, так, значит, будет и у внука. Так происходит со всеми поколениями. А жаль. Хотелось, чтобы в памяти внука сохранились наши грибные походы, первая поездка на велосипедах, сказки, которые я сочинял этому маленькому человеку. Чтобы веселая эта, счастливая пора вспоминалась в его взрослой жизни. И конечно, чтобы через это вспоминался и я. Ибо, как сказал Андриан: «Мы стремимся прежде всего остаться в памяти наших детей, тем более – внуков. Хочется таким образом продлить себя. Причем со всеми... Для них мы всегда сильные, мудрые, честные, мы все сумеем. Они не видят и не знают наших недостатков».

Но в том-то и хитрость природы, что в детской памяти она ничего этого не оставляет. Куда ж она все это деваает? Может, закладывает в подсознание, перерабатывает в тот фундамент натуры, то есть характер, который как раз до пяти лет и складывается? Я утешал себя тем, что первые годы жизни остаются в ребенке чем-то более важным, чем просто воспоминания о бабушках и дедушках. В будущей его жизни беспмятные эти, вроде совсем забытые годы участвуют незримо,

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
сказываются неожиданно – добротой, чуткостью к слову, к красоте. И наши походы останутся и откликнутся когда-нибудь вздохом перед чудом цветка, жалостью к больному псу.

Это было утешение скудное, но другого не было.

Первые годы жизни, казалось бы, бесследно стерты. У младенца в утробе, у того вообще нет своей памяти, он живет памятью матери, в нем – память природы, ее инстинкты, ее законы, он как бы часть неотделенной природы. Его рождение – это рождение «я». Появляется окружающий мир, и появляется свое, отдельное, никогда не бывшее ни с кем другим. С той минуты, как открываются глаза, как уши начинают слышать, как раздается крик, с того момента, как младенец ощущает грудь матери, вкус, запах ее молока, начинает складываться личность. Пока что все эти ощущения проваливаются куда-то в подсознание, наполняя его пустые соты. Потом, спустя время, в какой-то непонятный момент что-то начинает задерживаться в памяти, уже той памяти, которой мы можем пользоваться, перебирать, листать, как страницы старой книги. На первых же листах ее – картинки без подписи, без объяснения, еще вне сюжета.

Но вот тряская эта, пыльная дорога в Кислицы показала, что из того раннего что-то осталось – какие-то звуки, касания, названия деревень... Легкие прерывистые следы вели куда-то в самую рань, в пяти-четырёхлетнюю рассветность. Где-то там пребывали – я это чувствовал – рассказы моего отца, наши с ним хождения к смолокурам, лесные ночевки... Если бы я знал, как устроена память, чтобы извлечь, вытащить из ее сундуков погребенное имущество! Там за семью печатями наверняка хранилось и как отец учил меня азбуке, и то, что он мне говорил, нашептывал, когда мы лежали с ним на печи под щекотной овчиной. Существует какой-то пустяк – звук, картинка, слово, – который может стронуть с места, подтолкнуть – и память очнется. Сезам откроется.

Машина везла меня в страну моего детства, где все так и может произойти и одна за другой станут проступать забытые подробности...

Когда-то я пытался изучать проблемы памяти, убежденный, что с памятью связан секрет становления человеческой личности, что человеческое «я» не может существовать без памяти.

Теории памяти оказались слишком противоречивы. Механизм памяти и до сих пор малопонятен, плохо изучен.

Из кирпичиков памяти складывается индивидуальность. Обращение к памяти, к своему прошлому – это восстановление своего «я», проявление его. И чем дальше уходишь во мглу прошлого, туда, к детству, тем лучше ощущаешь себя. В этом смысле удивительный опыт над собою проделал Михаил Михайлович Зощенко в своих повестях «Перед восходом солнца» и «Повесть о разуме». Он работой воли, ума вызвал из своей детской памяти картины своего самого раннего детства, восстановил, извлек то, что обычно так и остается скрытым за горизонтом воспоминаний. Это была чрезвычайно поучительная работа. Осознавая свою собственную историю, человек понимает себя, свой характер, свою душу и других, значит, тоже понимает лучше.

Вот и сейчас на подъезде к околице припомнилось, что тут стояли ворота... Как-то они назывались, было какое-то здешнее словцо, я спросил у Андриана, но и он забыл. Поскотин перед деревней давно уж не было, ворот тоже. А я вспомнил нудную свою мальчишечью обязанность соскакивать с телеги, бежать открывать те жердяные ворота на лыковых петлях, затем закладывать их деревянной щеколдой или подтыкать колом, догонять телегу, вскакивать и то же самое повторять при выезде. Так всю дорогу, через все большие и малые деревни, опоясанные жердяной городьбой. Раньше, когда я был поменьше, открывали мальчишки, привлеченные колокольцем, и отец кидал им медяк.

Куда мы ехали? На лесосеку, к сплавщикам, к лычникам... Я то и дело вспоминаю себя на телеге, на санях, реже на рессорной бричке, на возу...

Андриан так и не вспомнил названия тех ворот.

– Наименования исчезают вместе с вещами, – рассуждал он. – Сколько их кануло из нашей жизни! Гуменка, заглядка, буржуйка. Что такое ренсковый погреб? А ведь у нас на улице, говорят, их было два!

Мы ехали и ворошили осевшие на дно памяти умершие слова. При виде желтеющего льняного поля я вспомнил – «околоколится», так говорили про лен. Высушенный, он бренчит семенами в коричневой головке – колоколится.

– Белая смола, – произнес Андриан, а что это такое, белая смола, не пояснил.

Дорога была не в сто двадцать километров, а в целую жизнь. Меня отделяло от Кислиц несколько десятков лет, а ехал я сюда уже лет двенадцать. Не уследил, с чего началось, но стали сниться мне эти места. Настойчиво, тревожно. Потянуло. Несколько раз собирался. Отпугивало расстояние, оттягивали дела. Андриан тоже высмеивал.

– Поездка в родные места, – говорил он. – Неужели нет у тебя темы посвежее? Пусть об этом пишут литературные молодцы, которым больше нечего сказать. Они лелеют тоску по деревне, поскольку выбили себе шикарные городские квартиры и теперь вынуждены ездить на лифте и мыться в ванне. Бедняги, они приезжают в родимые места повздыхать! – Нарушая свою философскую невозмутимость, он материл этих литературных шулеров, этих лицедеев. – Ходят в сауну, но воспевают баню по-черному, с кваском, воспевают старух – носительниц трудолюбия и нравственности, а сами небось на уборочную не едут. И ты к ним пристраиваешься?

Год от году независимо от этих повестей меня тянуло в Кислицы. Мне упорно снился омут, один берег высокий, с которого мы ныряли, с которого отец меня впервые толкнул в воду и я выплыл, второй берег низкий, обрывистый, залив, поросший рогозой с черными бархатными шишками. Я просыпался, продолжая вспоминать жизнь разъезда, бедную и веселую, дощатую платформу, на которой за час до прихода вечернего скорого собирались и гуляли все местные: мастера с лесопилки, десятники с лесобиржи, станционные служащие, леспромхозовцы в галстуках, вышитых косоворотках, приходила из чайной высокая красивая буфетчица, стриженная, с челкой, и ее муж, бывший циркач, в шляпе с пером, с улыбкой клоуна и печальными глазами помешанного, он раздавал нам звездочки из красного постного сахара, которые сам готовил, приходили какие-то девицы с парнями, мой отец с матерью, главный бухгалтер, толстый, в белом пиджаке из чесучи. Все чинно прогуливались по дощатому высокому перрону, мужчины курили, пользуясь мундштуками, из кармашков у них торчали карандаши с железными наконечниками, у отца был красно-синий карандаш с наконечником и зажимом. Женщины ходили в баретках. Каблуки звонко стучали по доскам, вечернее небо горело над головами, далеко-далеко блестели рельсы, рассекая темную стену леса. Все лузгали семечки, смеялись, пели. Обсуждали погоду, план заготовок, вывозку, погрузку. Потом проходил скорый. Поезд останавливался на минуту. Начальник разъезда отдавал жезл машинисту, из почтового вагона кидали мешок с письмами и газетами, паровоз пускал белый пар и рвался дальше. Редко кто сходил с поезда. Обычно двери вагонов оставались закрытыми. На разъезде нашем не было колокола, не было и торговли: не успели бы, да и нечем было торговать – разве земляникой, семечками?

И все не спеша расходились по домам. Это было в те допотопные времена, когда не существовало телевизоров, радиоприемники стоили дорого и были редкостью, делали их со стеклянными лампами, а были и детекторные, людям приходилось общаться друг с другом, разговаривать, парни вели беседу с девушками – придумывали частушки, говорили всякие слова, вместо того чтобы включить электронику.

Поселок со всех сторон был окружен лесами. Когда поезд уходил, клочья дыма еще долго плавали меж деревьев, и запах паровозного дыма был запахом путешествий, дальних городов.

Вот какие идиллические картины проплывали передо мною в ночной тиши. Несмотря на Андриановы насмешки, мне мечталось приехать и пойти на речку, окунуться в тот коричневый омут. Я слышал, что в Кислицах многое изменилось. Слышал, что чайной, напротив которой мы жили, нет, что дом Петряковых сгорел еще перед войной. Были там в войну немцы или нет, я в точности не знал, линия фронта петляла, а Кислицы ни в каких сводках Информбюро не отражались.

Тянуло, тянуло – и вот нынче приспичило. Какое мне дело до писательской моды, до чужих повестей, смакования прошлого, до чьих-то удач и просчетов? У меня были своя речка, свой разъезд, и жизнь у меня шла своя, единственная, коротенькая: если я не поеду в свое детство, никто другой его не посетит, никому, кроме меня, нет до него дела, даже самым близким людям было неинтересно слушать про этот

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
разъезд. Андриан взялся меня провожать из Старой Руссы единственно по нашей дружбе. Я был рад, что он рядом, все же не так было боязно.

Родных у меня в Кислицах не было. Место это было одно из тех, где приходилось работать отцу, которого переводили время от времени из леспромхоза в леспромхоз: то в Новгородчину, то на Псковщину, то отправляли куда-то в Бийск, в Невьянск, в Вятку, затем опять под Кингисепп. Не знаю, почему так получалось. Был он человек счастливой мягкости и доброты, счастливой, потому что не страдал от своей мягкости, не считал ее слабостью. Всего, чего он добивался в спорах своих с начальниками, с настырными лесозаготовителями, он добивался добротой. Доброта была его слабостью и силой. Его старались не обижать. Может, скитания наши происходили из-за его покладистого характера? Дети мало что знают про работу своих отцов.

Леспромхозовцы связаны друг с другом. После войны вплоть до смерти отца к нам наезжали, останавливались лесовики, рассказывали новости, и Кислицы продолжали жить для меня в том же детском виде, хотя что-то и менялось. Боярцев – лесоруб – стал главным инженером, вырубка в Залучье пошла сплошняком, были и другие сведения, но в том-то и штука, что тогда это меня никак не интересовало.

Мы ехали, и я пытался вспомнить те давние новости.

Деревни, не обвязанные изгородями, расползались по зеленой земле, машины неслись сквозь них навыворот, придерживаемые лишь колдобинами тракторных следов.

Красноземные поля, красноземные косогоры сменялись бедным серым суглинком, позолоченным стерней.

В Лычкове я ничего не узнал. Лычково в мои годы было райцентром. Мы ходили туда пешком по шпалам. На откосах железной дороги росла земляника. Почему-то земляники тогда было много.

– И волос было много. И зубов, – сказал Андриан. – Цветы как пахли! А какие были высокие люди! И какое вкусное молоко!..

Теперь Лычково было просто поселком. Демянск, тот выставил на дороге горделивую надпись: «Основан в 1406 году». Был знаменитый демянский котел в эту войну, из-за которого Демянск упоминался в книгах по истории войны. А у Лычкова ничего такого не было, хотя появилось оно тоже давным-давно. В нем ничего не сохранилось от минувших веков, от крепостного права, от аракчеевских поселений, даже от довоенных лет ничего не было. Что-то, конечно, осталось, но запрятано было слишком глубоко.

Я приготовился к тому, что и в Кислицах все должно измениться. Единственное, на что я надеялся, – на речку. Речка-то должна была остаться, значит, и омут остался, а может, и тропка к нему. Посидеть на том высоком берегу, ничего больше и не требуется. А там уж нахлынет, вспомнятся и отец, и друзья его, послышатся слова, воскреснут и другие знаки ушедшего; пусть одна часть минувшего фильма, но все же прокрутится перед глазами.

III

Не несколько домиков, а большой поселок стоял перед нами. Там было много магазинов, универсам, Дом культуры, асфальт – вот какими стали Кислицы. Все, все было неузнаваемое, не мое. Дома, нарядные, обшитые вагонкой, свежеекрашенные, стояли тесно, длинными улицами. Где была лесопилка, никто в точности не помнил. Одни показывали за железную дорогу, другие за шоссе. «И праха от нее не осталось», – как пояснил один местный. А местными считались те, кто приехал сюда после войны.

Большая контора леспромхоза была совсем новая. Но что-то в ней чувствовалось от прежних бараков и от всех прежних лесоконтор, какие были и сорок, и тридцать лет назад. Над крыльцом кумач, такой висел и при моем отце; стояла знакомо крашенная багровым фанерина с именами лучших и цифрами плана и голубая фанерина с пунктами обязательств. Кубы, заготовка, вывозка. Все узнавалось, несмотря на то что в кабинетах стучали электрические пишущие машинки, звонили телефоны и вместо шелканья деревянных костяшек счетов потрескивали арифмометры.

В коридоре витал привычный запах, составленный из запахов дегтя, сырых полов, подметенных вениками, запахов бумаг, бензина и здешнего леса. Все вместе это и было запахом отца.

Запахи неизменны. Есть запахи, которые не меняются из века в век, – запахи печей, дорог, хлеба. Повсюду пахнут одинаково столовые, общежития, во всем мире одинаково пахнут гостиницы, отели – и в Японии, и в Архангельске. То же и с людьми. Лесорубы на Сахалине пахли, как и здесь, в Кислицах, как и когда-то, когда отец приезжал из леса, а я сидел у него на коленях, уткнувшись ему в жилет.

И эти конторы, самые разные (сколько я их повидал!) – и маленькие конторы сплавщиков с керосиновыми лампами, и лесные, и районные, – хранили тот же запах: бумаг, железных ящиков, клея.

Память на запахи – особый раздел или аппарат памяти. Они помнятся десятилетиями – запахи тола, горелой брони, запахи шинели, госпиталя, не определенные никакими словами, таблицами, приборами. Запахи прошлого.

А ведь казалось бы – вместо лошадок, саврасых и чалых, ревели огромные трактора, выли бензопилы «Урал», всюду были рации, а в чистой просторной столовой высился заграничный автомат по изготовлению мороженого: никелированный куб, который, пробурчав, выдавливал из себя спиральный завиток бело-желтого пломбира. Таких роскошных автоматов не было еще ни в Москве, ни в Ленинграде. А местный Дом культуры! Стены его были разрисованы абстрактными панно. А в универсаме стояли лучшие коньяки, шампанское, токай, вермут и прочие вина виноградных стран. Кислицы вышли на передний край благополучия. Но это были не мои Кислицы.

Омута не было. Я бродил по улицам и переулкам, ничего не узнавая. Я прошел к вокзалу, чтобы искать от него, но и вокзал вызывал сомнения. Он стоял не с той стороны путей. Платформа была не деревянная, а асфальтированная. Здание было не то. Дороги были не те. Лесосклад не там. Я пошел вдоль ручья, вдоль какого-то усохшего вялого водотока, зашел в болотистый кривой лесок, там была зацветшая ряской не то промоинка, не то мочага, пахнувшая гнилью. Вернулся в поселок. В центре, у промтоварного магазина, раскинулась мутно-желтая запруда. Я постоял у нее, сличая и не соглашаясь с тем, что это и есть мой омут. Один из местных сказал, что послевоенные Кислицы, кажется, сдвинуты немного в сторону, это можно уточнить. Как уточнить? И для чего мне надо было это уточнять? «Не знаете ли вы, куда делся омут, который был до войны?»

Я посмотрел на себя в зеркальное стекло витрины. Тоже не узнать – не тот, никаких следов того мальчишки.

Слева от входа в Дом культуры висела мраморная доска: «На этом рубеже 12 сентября 1941 года воины 202-й стрелковой дивизии остановили наступление немецко-фашистских войск».

– Да, – сказал Андриан, – только нам, знающим язык тех лет, понятно, что немцы вошли в Кислицы двенадцатого сентября сорок первого года. Дальше, видимо, их уже не пустили.

12 сентября... В этот день мы дрались на подступах к Пушкину, отходя к Александровке, а потом и в самый Пушкин, в парк, ко дворцу. Я запомнил эти дни с 1 по 17 сентября 1941 года, потому что тогда ранило полковника Лебединского и я остался в штабе за командира полка, поскольку никого из офицеров не было, и начальник политотдела дивизии Саша Михайлов сказал мне по телефону: «Побудь там за старшего, пока мы не подошлем кого-нибудь». Они никого не подослали. Почти сразу штаб дивизии отрезали, и я так и остался за старшего.

В эти самые часы здесь наши тоже отходили, оставляя Кислицы, мой дом, мой омут, мою платформу.

По другую сторону от входа на ДOME культуры висела доска: «19 февраля 1943 года воины 202-й стрелковой дивизии освободили поселок Кислицы от немецко-фашистских захватчиков».

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Вскоре я нашел старика, который утверждал, что он все помнит – и лесопилку, и отца, и даже меня. Он был в черной шелковой рубаше, на которой лежала белая борода. Он вспоминал медленно и ровно, сведения выползали из него, как телеграфная лента. Может, и я его знал, но вспомнить не мог – слишком велика была мутная толща времени. Встреча с ним ничему не помогла. Кислицы гибли, таяли и от его слов тоже. Омут мой исчезал. Теперь кругом него будут стоять дома, промтоварный магазин, будут идти ребята с завитками сливочного мороженого.

– Банальная история, – сказал Андриан. – Не случайно в процессе эволюции человек приобрел аппарат забывания. Нечего над ним насильничать. Забывание – это здоровье памяти. Если память у тебя нездорова, надо лечить ее не поездкой в минувшее. О чем, собственно, ты скорбишь? Что Кислицы не остались такими же? Но они ведь стали лучше. Я никогда здесь не был, однако для нашей области это отличный благоустроенный поселок. Чего ты требуешь? Какие у тебя претензии? Не ради ж этого твоего посещения должны были оставить все как было? Тебе следует радоваться за свой паршивый разъезд – такой прогресс!

IV

Он прав, великий философ Андриан. Почему мне грустно? Почему мне плохо, если жителям этих залитых асфальтом Кислиц хорошо? Разве отец не обрадовался бы, увидев нынешние Кислицы? Почему, наконец, мне так приятны те несколько примет знакомого прошлого, что уцелели и тихо доживали среди нового быта? Это упругие мостки на улицах, мостки, которые заменяли панели. Дощатые, высокие – из-за осенней распутицы и весенней воды, что стоит здесь подолгу. С них такие же дощатые сходни во двор. Осталась и серая блестящая щепка вдоль узкоколейки, остался лес, запущенный, нечищенный, заваленный гнилыми жердями, однако узнаваемый по плотным березовым толпам среди осин, лип и особых здешних елей. Августовский его запах напомнил мне летние лесные дороги-лежневки, по которым вывозили лес с глубинных лесосек.

Мы садились на высокие вагонетки и катились на далекие делянки. Отец постоянно хитрил, торговался с заготовителями, подрядчиками, стараясь всучить им лесосеки подальше от железной дороги, чтобы рубить все же выборочно, а не сплошняком. Лесорубы за это тоже сердились на него, предприятия жаловались, особенно экспортные. Экспортлес – был такой толстый дядя в жилете с манишкой. Все были против отца, не пойму, как он держался.

Больше помнились не люди, а сама лежневка, ее разлохмаченные деревянные рельсы, чалые лошади, впряженные в вагонетки. Еще ручная дрезина, на которой мы неслись по главной магистрали – железной узкоколейке. И сами переводили стрелки...

А теперь я еду на «волге». Куда ж я еду? Возвращаюсь из Кислиц? Но из каких? Или возвращаюсь в те уже не существующие Кислицы?

Что будет теперь с моим детским омутом? Сохранится ли он в памяти? Не заслонит ли его запруда с промтоварным магазином?

Если бы я попал в старые Кислицы, мне бы взгрустнулось, припечалилось. Затем ведь и ехал. А ведь как странно устроен человек. Прodelать такой путь, чтобы погрустить. И теперь досадовать оттого, что грусти не получилось.

Где-то в лесу стояли деревья, сохраненные отцом. Уже здоровенные деревья.

– Порублены, все они порублены, – сказал Андриан. – Не надейся. Ничего не осталось, рубят без пощады. Пока что лучший лесоруб важнее самого лучшего лесника. Все еще покоряем природу, побеждаем ее. Ты знаешь, я иногда ненавижу природу за ее бессилие и беззащитность. Она сопротивляется самоубийством. Надеется на наше милосердие. А мы-то... Мальчишка-сопляк сидит на оранжевой громадине трактора и чувствует свое превосходство над лесом. Как же, все падает, трещит под ним. Его убедили, что он властвует над природой. Но ведь властвовать еще не значит понимать природу. Да и кто нам дал такое право – властвовать? По праву сильного, да? Какое же это право!

– А что такое понимать природу?

– Не знаешь? – Андриан покачал головой. – Понимать – значит сочувствовать.

– Кому, лягушке?

– Да, лягушке. И зяблику. И дереву. Ты думаешь, прогресс – это универсам? Прогресс к тому направлен, чтобы заполнить пропасть между природой и человеком. До сих пор мы пропасть создавали, теперь начинаем уничтожать ее, и это и есть начало прогресса. Понимать все живое, осознать наше родство со всем живым, с зябликом, с волком, с ольхой. Понимать – значит любить. В этом наше будущее. В этом, если хочешь, я вижу коммунистическую жизнь.

– Похоже на библейский рай.

– Примерно. Только не получим мы его в награду от господ бога, а придется устраивать самим.

V

На шоссе от свертыша донесся кислый запах мочевины. Выкопанные вдоль дороги ямы заполняла стоячая пенно-мутная вода. В ней мокли липы. Месяцами лежали они там на березовых плахах. Запах я узнал сразу. Мы остановились, и я спустился туда, где женщины снимали лыко с липовых стволов. Я смотрел, как они это делали, движения вспоминались, отгадывались, и я не заметил, как руки мои непроизвольно подхватили содрванное лыко, ничего не объясняя, я понес лыко на подводу, чувствуя, что я уже когда-то это делал, вот так носил, кожа моя узнавала мыльную скользкость лычин, этого размокшего разодранного луба.

Когда-нибудь изобретут способы оживлять детские воспоминания. Присоединят электроды, включат поля – и в мозгу медленно, как на понтонах, начнут всплывать картины детства, голоса родных, их лица, слова, прикосновения. Я услышал бы, как пела мать, где-то здесь она ходила и пела. Голос у нее был сильный, чистый, помню, она упрекала отца: если б не его лесная жизнь, она могла стать певицей.

Способа этого еще нет. Надо самому каким-то образом стараться сдвинуть слежавшиеся пласты памяти, спуститься поглубже, в те годы, когда мы еще жили в Старой Руссе и мама была совсем молоденькой. Пожалуй, два или три места всего я и помню из всей скитальческой работы отца – Кислицы, Старую Руссу и, может, еще Рогавку. Видимо, там он работал подольше.

Река потекла вспять, холмы побежали вниз.

Обратная дорога не возбуждала воспоминаний.

Стоило ли ехать сюда, разрушать то небольшое, что каким-то чудом я сохранил, пронес сквозь годы, фронты и всю нынешнюю жизнь, которая никак, ничем, совсем ничем не связана была с этими местами?

...Зашел в лес. Там было тихо, жужжали, гудели мухи и еще какие-то насекомые. Березы не шелохнулись. Сперва как войдешь в лес – прохладно, а потом и тут своя духота настигает. Лесная жара не то что полевая. В поле потная, с пылью. Здесь же, в лесу, доходишь, как в духовке.

Кто-то окорил березку. Испод у нее гладко-бордовый, с шелковым блеском, она и в изувеченности своей прекрасна.

Это даже не лес, а роща, она как островок среди клеверных полей.

Красиво – холмы, поля, вдаль синий-синий, там-то уж, конечно, прохладный лес. Красиво, а не волнует, не томит, как в молодости. Знаю, что это прекрасно, но знаю это больше памятью молодых, мучительных до слез любований. И за то спасибо. Слава богу, что страдал от этой передаваемой красоты в молодости и теперь могу понимать и помнить разумом. Так с годами все, что было в сердце, переходит в ум. А ум этим не волнуется, он знает лишь, что это волнует.

VI

В Лазенках мы остановились у старого знакомого Андриана. Изба была полна детей.

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Хозяин нянчил младшего своего внука, седьмого. Мы сидели, пили молоко. Андриан так расспрашивал Василия Ивановича, что вскоре и я знал, что здесь, в этой деревне, Василий Иванович учительствует почти сорок лет. В сущности, он никуда отсюда не выезжал, кроме как на учебу в институт. В этой деревне, в этой школе, в этом доме прошла его жизнь. И дочери его тоже учительствуют.

Василий Иванович был худенький, застенчивый, и отвечал он больше мимикой, чем голосом. Невозможно было представить его на трибуне, в кабинете начальника, руководителем. Вот с детьми или в поле, на речке – тут он вписывался.

Когда-то мне казалось: чем больше я езжу, тем больше вижу; чем больше стран вижу, тем больше узнаю мир. Казалось, что путешествия обогащают ум, сердце, что новые города – это новые впечатления, новые мысли, что никогда не живешь так полно, как путешествуя.

Поначалу так и было. Преимущества жизни подвижной казались мне бесспорными. Я жалел людей, которые не были в Сибири, не видали Курилы. И они жалели себя и завидовали мне. Но сейчас, слушая Василия Ивановича, я думал о преимуществах его жизни. Мысль эта явилась не впервые. Я думал об этом в Японии, в Саду камней. Неподвижность тоже способ познания. Японец, сидящий в Саду камней, среди неподвижного, неизменного сада, погружается в глубины своей души, может ощутить ее. Смена впечатлений происходит не только от меняющегося пейзажа. Неподвижность мира позволяет пристально взглянуться в него. Через камень можно увидеть горы, целые хребты.

В огороде Василий Иванович угостил нас яблоками. Яблоня стояла тяжелая, обвислая от урожая. Лето было засушливое, и яблоня, по словам Василия Ивановича, сдвинулась поближе к колодцу. Яблони двигаются чуть-чуть, но двигаются, и кусты смородины у него тоже двигались, корни их неизвестно как узнавали, где выкопана яма с компостом, и направлялись туда. Корни под землей рыщут...

Я завидовал его умению видеть эти незаметные движения. Он жил вглубь, а не вширь. В своей деревне он мог чувствовать всю страну, на огородных грядках ему открывалась Природа. В том, что окружало его, в этих нескольких сотках огорода, среди нескольких десятков школьников, содержалось, оказывается, все многообразие мира, бесконечно малое становилось бесконечно большим. Становилось не само по себе, а раскрывалось его трудом, его наблюдательностью. Он пробивал свою штольню к центру Земли. При такой сосредоточенной жизни человек ближе к себе и ко всему человечеству. Он меньше истребляет и больше дает. «Истребители» – это термин Андриана, непризнанного философа нашего времени.

– Мы, брат, не столько потребляем, сколько истребляем. Истребители жратвы, питья, промтоваров. Истребляем больше, чем нашему организму положено: ведь только человек, единственное существо в природе, страдает ожирением... Мы – истребители живого, природы, времени, часто безо всякого следа в смысле полезных результатов. Возьмем книги, ведь часто мы читаем их не для того, чтобы возбудить свою мысль, а для того, чтобы не думать, следовательно, истребляем и время, и саму книгу, да еще мысль. Отвлечься! Слышал такое словечко? Ты, писатель, должен вдумываться в слова. От чего, спрашивается, отвлечься? От себя! От своих переживаний, мыслей! Будто уж так много у нас этих мыслей. Фактически только и делаем, что отвлекаемся. Мыслей давно нет, а все отвлекаемся. Боимся, как бы не начать думать. Одно слово – истребители...

Действительно, подумал я, мы как-то стараемся избегать переживаний – внутренних, идущих от недовольства собою, от тоски невесть по чему. Мы натренировались избавляться от них, считая это блажью, мутью, результатом высокого давления, плохой погоды, усталости. Что угодно, только не томление души! Придавить ее каблуком, чтобы не дымила, ее вообще нет, не существует, а если есть, то лучше, чтоб ее не было...

VII

А если не искать утешения, думал я, не бежать тоски и мучений? Может, это оживит воспоминания? Человеку нужно все – и тоска, и страх, и скука. Вообще все, что есть в природе, все это нужно. И любые животные нужны, и гроза, и василек, и даже вечная мерзлота.

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Отец показывал мне, как нужны лесу пни, старые трухлявые пни, где живут всякие жучки и букашки.

Понимал ли он лес? Не знаю, слишком мало я вникал в его жизнь. Но пользоваться им старался очень осторожно. Живицу, например, гнать, он считал, надо бережно, как корову доить. Но отношение у него было не к дереву, а к лесу целиком. Были леса, которые он любил, а были нелюбимые... Между прочим, почему-то любил он совершенно неделовую, нетоварную осину. Самое легкое дерево в наших лесах и самое дешевое, что и на дрова не шло. Зато делали из осины лучшую дранку, я помню, с каким трудом отец налаживал драночные станки в колхозе да еще хотел наладить рогожное производство из молодой осины.

Дранка, щепка, клепка... И сразу посыпались вразнобой отцовские слова: накат, баланс еловый, слипер, рейка, швырок, подтоварник, грядки. Слова означали разные сорта леса, никогда и нигде больше, ни по какому поводу я не слышал их, они сохранились как бы в том детском виде: баланс – обструганная, окоренная коротышка, розоватая, с нежно-пленочными остатками кожицы; пропс – вот этого не помню, зато помню горбыли, удобные для наших мальчишечьих построек, и рейки – длинные, ломкие, которыми мы сражались. Кряжи, шпалы, дрючки, капбалка. Эти удивительные слова, то красивые, то некрасивые, произносились на лесобирже, где отец ходил с деревянным метром в руке, а в лесу он был с рулеткой, и там были другие слова – живица, сеянцы, делянка, бонитет. Были волшебные слова, которыми он заставлял деревья расти быстрее или же лечил их; он шел и выстукивал и выслушивал их на ходу, как врач, а иногда останавливался и слушал, как они дышат. Он по срезу рассказывал жизнь дерева, когда была сушь, когда угнетали соседи; казалось, он знал все, что творилось в этом лесу давно, еще до революции и до его рождения. А каким он был сам? О чем мечтал, чего добивался, что думал? Воспитывал меня, а как, каким образом? Ведь помню, что не бил и не задаривал. Что-то говорил, находил какие-то слова, больше же всего показывал работу. В лес брал, на лесосеки и дома работал, графил ведомости, вычислял прирост леса, кубатуру.

Вот линейку его помню, лиловые копирки, карандаши, резнику – незначачие эти мелочи, они зачем-то сохранились и пребывают во мне.

Внешнюю сторону жизни я запомнил лучше – не потому ли, что на нее больше внимания обращал? А состояние души, внутренний мир проходили как-то мимо меня, не вызывали интереса – почему?

Мальчик Алеша Пешков в «Детстве» Горького рассказывает о множестве людей, их десятки и десятки, и каждый запомнился ему и словечками и философией своей, всей натурой. Алеша с ребячьей точностью помнит красильные чаны и запахи краски, но это попутно. И у Толстого в «Детстве» главное тоже – духовное наполнение, образы людские во всех особенностях их внутреннего мира. Все это не сочиненное, а сохраненное. В моей же памяти осталось чисто внешнее. Люди различались главным образом внешне, служебно – один прораб, другой пильщик; говорили они на разные голоса, но одними и теми же словами, и, может, от этого казалось мне, что и в душе у этих людей все устроено одинаково и отец мой хотя и добрее остальных, но, наверное, с той же начинкой. Как в анатомическом атласе, который был у моей старшей сестры и который мне иногда позволяли смотреть. Там был изображен человек, его можно было разъять, отгибая сперва кожные покровы, тогда обнажались мышцы, потом отогнуть мышцы, открывался желудок, кишки, сердце, легкие. Все это хоть и бумажное, но было раскрашено, извивы кишок можно было приподнять, открыть сердце, почки... С трудом, неохотно, но я все же усвоил, что так, одинаково, устроен внутри каждый человек. Разнятся люди лишь ростом, походкой, цветом волос и глаз, то есть снаружи. Почему-то люди не запоминались мне своими идеями, необычными дерзкими мыслями. Они слиплись в неразличимую массу, прикрытая разница увиделась куда позже.

Иногда мне кажется, что человек – как песочные часы. Природа ставит нас, чтобы отмерить какие-то миги истории. Сам я состою из тех же песчинок, которые тянутся через меня. Бывает – и с годами все чаще, – что я слышу этот шуршащий ток времени, уносящий мою жизнь, мое «я», ощущаю временное, быстро тающее свое состояние, краткость пребывания на земле.

Вообразите фильм, где вся жизнь от рождения до смерти прокручивается за сеанс. Полтора часа. Значительные, но краткие миги опускаются, остаются наиболее

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
длительные, долгодействующие факторы: сон, работа. Фильм, подобный научно-популярным лентам о росте хлебного колоса или о превращении личинки.

Можно вообразить фильм с еще большим захватом времени, снятый несколькими – многими – поколениями операторов, скажем, о судьбе маленького российского городка: как появляются, ветшают и рушатся его дома, как городок растет, меняется, вокруг него тают и вновь появляются леса. Жизнь отдельных людей в этом масштабе вспыхивает и гаснет сигнальными огнями, смысл которых неясен, хотя может и обнаружиться при таком взгляде издали.

Возьмите, к примеру, ту же Старую Руссу. Допустим, с XI века. И представьте этот фильм. Как нападали на город то половцы, то литовцы да ливонцы, то свои соседние удельные князья. Город этот всегда был мал, малочисленны были его дружины, они защищали как могли и гибли под напором тысячных ратей пришельцев. Наводнения разоряли город, нападала моровая язва, уничтожая всех подряд без различия звания и возраста, уцелевшие разбежались, так что город пустел на много лет и «там жили и плодились дикие звери». Доставалось городу от пожаров, от засухи. Голод обрушивался часто и страшно, выкашивая одним махом тысячи горожан. Посвист этой косы не различить в мелькании кадров, разве что увиделось бы на минуту голодное десятилетие с 1446 по 1456 год, когда люди питались чем попало, дичали, продавали себя в рабство.

Впрочем, историю той жизни мы знаем больше по войнам и всяческим катастрофам. Историки упоминали о Руссе лишь попутно, в связи с историей Новгорода или московских походов и завоеваний. Сама по себе трудовая жизнь как бы утекала сквозь сита исторических летописей.

Разоренный, сожженный, выморочный город снова возрождался, начинал варить соль на своих соленых озерах, дубить, выделывать кожи, строить ладьи и корабли. И снова приходят воины, приходят литовские воеводы, польские, шведские, снова грабят, убивают. Русса оказывалась на пути то к Новгороду, то на пути врагов в Москву, она защищалась, она защищала. Войны, эпидемии и пожары воспринимались как бедствия стихийные, наиболее тяжелый след в народной душе оставляли события иные, покушавшиеся изменить естественный характер жизни, такие события, как устройство аракчеевских поселений. Зверское самодурство, насильственность, лицемерие, лживость вызвали в тридцатые годы прошлого века бунты, слепые и яростные.

Может, оттого Октябрь пришел в Старую Руссу так естественно и советская власть укрепилась сразу и прочно.

Однако если представить себе фильм в масштабе времени десять веков (тысяча лет) за полтора часа, то мы увидели бы не пожары, не войны, а упорный постоянный труд быстро сменяющихся поколений, которые строили все быстрее и ловчее дома, прокладывали дороги, делали машины, обставляли свою жизнь разумнее, спасая своих детей от голода и мора. Звон мечей заглушался непрерывным стуком молотков, топоров, цепов, скрипом колес. Неизменным оказывался труд. Он составлял основу жизни. Что бы ни происходило, а каменщик брался снова месить глину и разводить в яме известь.

Песчинка необычных часов была вечна. Человек тоже состоит из таких вечных частиц материи, в которых словно была заложена самой природой потребность труда и счастье труда. Казалось, частицы эти передаются из века в век, до нас они составляли других людей, и, может, поэтому иногда странное чувство охватывает нас: как будто все это было уже когда-то с нами, что-то похожее, какой-то древний опыт, то, что называют зовом предков или голосом крови.

Где находится память – неизвестно. Если она не сосредоточена в каком-то специальном органе памяти, а разлита по всему мозгу, а может, и по всему организму, то, значит, каждый орган как бы помнит. Есть память у мышц, у ног, память у обоняния и вкуса. А может, есть память и у частиц? Не знаю, на каком уровне существует память, но ведь, может быть, и как память клеток или молекул, или атомов? Что если наша память складывается из их памяти, наше «я» складывается из неповторимого сочетания их бесчисленных «я»?

Не торопясь я шел по набережной.

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
От Перерытыцы исходило тепло перегретой воды. На крутых травянистых берегах редко стояли рыболовы, а чаще одевались и раздевались купальщики. Кто спешил окунуться по дороге с работы, кто, уже отдохнув, захватив полотенчиком, выбирал местечко и не торопясь, со вкусом, входил в воду. Дневной тяжелый зной спал. Наступали блаженные в это жаркое лето вечерние часы, когда цветы раскрывались, оживала листва, люди показывались на улице. Из тени появлялись собаки, кошки, куры, всякая живность спешила насладиться короткими часами предзакатной свежести. Собаки бежали по тенистой аллее, тормозя для сбора информации у подножия каждой из старых лип, обмоченных многими поколениями дворян.

Голые люди стояли посередине Перерытыцы по пояс в коричневой воде, неподвижно, как белые статуи.

Все отдыhalo. Замерло, словно задумалось о главном в своей жизни. Передышка после потной долгой дневной жары была наполнена покоем, такой легкостью воздуха, что собственная голова казалась воздушным шаром, легко плывущим в небе. Человек растворялся, чувствуя себя частью реки, земли, зелени. Ничего другого и не надо было, так мудры и полноценны были эти минуты. Чтобы их ощутить, не требовалось ни шезлонгов, ни красивых купальников, ни махровых халатов.

Набережная была полна утихшего солнца, теплого, как сено. Камни мостовой остывали. Косые лучи подпирали деревья, высвечивали сквозь окна дальние углы комнат.

Деревянные дома с мезонинами, с фальшивыми балкончиками (все послевоенной постройки) выглядели примерно так же, как и до войны. Здесь всегда стояли такие дома, одно- и двухэтажные, но нынче во дворах блестели «Жигули», мотоциклы, на крышах высились телевизионные антенны. Но это не мешало мне, я вполне мог представить, что иду на довоенный курорт, где у эстрады сидит мама, слушая оркестр. Вознесенский собор уцелел, все так же величаво возвышаясь над излучиной реки. В городе, даже разрушенном так, как Старая Русса, все же сохраняются его прежние черты, особый дух, природная физиономия, которая складывается из расположения его площадей, вокзалов, набережных и еще каких-то неизвестных составляющих. Так было в Минске, Пскове, Ленинграде.

Дом, где мы жили, на улице Володарского, сгорел, сгорело и лесничество с большим запущенным садом, местом наших игр. Вся улица была разрушена. Осталось в целости на весь город несколько домов, всего четыре, как утверждает Георгий Иванович, в том числе и дом Достоевского.

Когда я приехал сюда в середине пятидесятых годов, я побывал у этого дома. Там помещалась школа и, кажется, библиотека. Пришел я вот так же под вечер, на лавке у дома сидели старухи. В платках, в кофтах со сборочками на груди. Кофты считались тогда старушечьими, а нынче такие же стали наимоднейшими. Старухи помнили Анну Григорьевну Достоевскую, рассказали мне, как она приезжала после смерти мужа, хлопотала вместе с местным священником Румянцевым насчет ремонта дома. Слушал я их вполуха. Я понимал, что рассказывают они что-то ценное, интересное, но, во-первых, дело это не мое, на то есть литературоведы, специалисты, они запишут, во-вторых, успеется. Две эти самые зловредные отговорки подводили меня много раз. Так я недоговорил с Андреем Платоновым, Куприным, Шульгиным – человеком, который знал Плеханова, Ленина, Мартова. Не записал своих встреч с Питиримом Сорокиным, Фадеевым, Сарьяном, Борисом Пастернаком, дядей Сашей – монтером Второй ГЭС. Успеется, думал я, когда-нибудь посидим, договорим, специально запишем.

У отца от Старой Руссы сохранилась хрустальная пирамидка. Внутри нее изображена была белая громада Воскресенского собора, река, розовеющее закатное небо – все это, выложенное перламутром, радужно переливалось, особенно если слегка повертеть пирамидку в руках. Изготовлена она была, кажется, к семисотпятидесятилетию города, несколько экземпляров, и каким-то чудом уцелела до наших дней, несмотря на войну, на наши семейные скитания и на мои мальчишеские руки, переломавшие бог знает сколько прекрасных вещей.

После смерти отца я поставил ее себе на стол и часто смотрел в эту хрустальную глубину. А потом однажды под наплывом непонятого ныне чувства подарил ее старорусскому музею. Его создавал тогда Георгий Иванович Смирнов, и вместе с этой пирамидкой я преподнес тоже отцовскую, хорошо сохранившуюся толстую книгу

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
М. И. Полянского «Историко-статистический очерк г. Старой Руссы», изданную в 1889 году. Это уникальное и презанятное произведение – одно из чудес российской статистики, из нее можно узнать все: про скот, про дома, про эпидемии, про купцов, сектантов, какие улицы в городе были мощеными, когда какая вымощена, на какую ширину и длину, какие были лавки, чем торговали, как менялось число жителей по сословиям. Там есть история всех церквей, монастырей, есть общественная жизнь города. Колонки бесстрастных цифр прерываются иногда горькими размышлениями автора:

«Прочие периодические издания, считая вместе ежемесячные журналы и газеты, в течение 1884 года были получены в количестве 100 655 номеров, или немногим более 275 экземпляров в день. Цифра эта может быть довольно точным масштабом для составления понятия о современной жизни города. В городе живет 60 чиновников, 60 офицеров, до 40 духовных лиц и 15 учителей, таким образом, на 12-тысячное коренное население остается не более 100 экземпляров периодических изданий. (Полянский считает, что лица указанных сословий выписывали хотя бы по одному экземпляру журналов и газет на человека. – Д.Г.) Словом, город живет своими торговыми, желудочными, эротическими и всякими другими интересами, кроме умственных. Исключение представляет самая ничтожная часть населения.

Расходятся деньги на обстановку, мебель, на наряды, но расход на книги, журналы и газеты составляет совершенно случайную часть бюджета. Очевидно, что умственная пища для большей части жителей не более как дилетантизм и непозволительная роскошь. Книжного магазина в городе не имеется: необходимые для детей учебные книги продаются там же, где и скипидар».

Я шел и вспоминал эту книгу, хрустальную пирамидку, вспоминал гостиный двор, которого уже нет, старорусских ребят на площади. Вспоминались потери. Есть дни потерь, так же как дни удач, дни обретений. Дни, когда прожитое открывается разом, с ошибками самыми нелепейшими, видно, как собственная жизнь двумя своими краями касается небытия, точно шаткий мосток между вечностью, что была до рождения, и той вечностью, что протянется после смерти. Выпадают неизвестно зачем дни такой удручающей видимости.

VIII

Окна в доме Достоевского были занавешены. На всякий случай я толкнул калитку. Лязгнув щеколдой, она отворилась. Я вошел в чисто подметенный дворик. Вдоль забора росли цветы. Дверь в музей была закрыта. Рядом я увидел другую дверь. Потянул, вошел в сени. В доме было тихо.

– Есть кто? – крикнул я.

Никто не ответил. Деревянная лестница вела на второй этаж. Там, наверху, висели написанные маслом портреты. Они изображали четырех братьев Карамазовых, Федора Павловича Карамазова и самого Достоевского. Наверху было светло от вечернего солнца. Что-то поскрипывало, потрескивало, дом устраивался, укладывался на ночь. Я не заметил, как на верхней площадке лестницы появился человек и тотчас, не всматриваясь в сумрак прихожей, а лишь убедясь, что я тут, уже тут, сверлящим голосом назвал меня по имени-отчеству и нетерпеливо позвал наверх, к себе.

Чудом было и то, что появился именно он, Георгий Иванович, может, единственный, кто был мне сейчас кстати, и то, что он не удивился моему появлению в неурочный час, да еще после двухлетнего отсутствия. Ни о чем меня не спрашивая, ничего не показывая, он с ходу стал доказывать мне, что религиозность Достоевского совсем особая, что ему удалось установить связи Достоевского с творчеством Данте, что вопрос вопросов – церковность Достоевского.

– Почему Христос ничего не ответил великому инквизитору, а поцеловал его? И заметьте – тихо поцеловал? А? Что этим хотел Достоевский сказать? А сколько мальчиков слушало речь Алеши? Не знаете. Неудивительно, мне на это никто из специалистов не ответил. Циферку эту Достоевский упомянул вроде бы мимоходом, так, бросил словечко, только у него ничего не говорится зря, все имеет глубочайший смысл. Вникнуть надо! Да-с!

Мы сидели в комнате, где сто лет назад Федор Михайлович писал «Братьев Карамазовых». Пока, до реконструкции музея, в этом кабинете работал Георгий

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru Иванович. От кабинета Достоевского не сохранилось здесь никаких предметов. Комната была большая, пустая, с маленьким стареньким письменным столом, с кушеткой. На стене висел портрет Михаила Михайловича Бахтина – любимца Георгия Ивановича, наилучшего литературоведа из всех писавших о Достоевском. Лежали старые книги, среди них Четьи Минеи – толстая книга с житиями святых. Я впервые видел ее, святые шли в ней в том порядке, в каком праздновали их память. Николин день, Петров день, Ильин день, Спас яблочный... После Ильина дня запрещали купаться, к Спасу собирали яблоки, везли в Руссу...

Георгий Иванович говорил быстро-быстро, словно опасаясь, что я его прерву или уйду, прикуривал от окурка следующую папиросу, бегал взад-вперед по пустой, уютной от солнца комнате. Иногда он поднимал правую руку и голос его взмывал:

– Нет, инквизитор – это соприкосновение миров! Он в Севилье сжигал еретиков. А Митеньку Карамазова судили в Скотопригоньевске!

Он наклонился ко мне, кричал, призывая имя архистратига Михаила против хулителей Федора Михайловича, тех, кто спекулирует на его имени, на его романах, кто уродует их в кинофильмах. Он клялся не допустить извратителей на порог этого дома.

– Не кровью пойдут мальчики за Алешей обновлять мир, а совестью! – яростно спорил он с кем-то неизвестным мне. – Христос – это же не бог, это истина!

Голос его гремел, отдавался в объемах пустынного дома. Клубы дыма вырывались из его рта вместе с гневными и восторженными возгласами. Вельзевул, жилистый, коричнево-облупленный, он кипел, ярился от переполнявших его чувств. Мысль его прыгала, я не успевал следить за ней, лишь иногда ухватывал неожиданную логику, казалось бы, отрывочных фраз.

За время нашей разлуки он крепко поднаторел, оснастился не только в литературе о Достоевском, но и в том, что у нас знают плохо, – в религиозной литературе. Он изучил множество апокрифов, сказаний, трудов по истории церкви, нужных для понимания взглядов Достоевского. Тут еще сошлось и то, что он как никто другой знал историю Старой Руссы, недаром он организовал в свое время и краеведческий музей, и музей истории старорусского курорта. Он показывал мне экспонаты нового, пока еще бедного музея Достоевского, где самым ценным экспонатом был этот дом, в котором Достоевский прожил семь лет, может, наиболее счастливых в своей жизни. За время жития в Петербурге Достоевский сменил около двадцати квартир. А сколько было квартир казенных – на каторге, в ссылке, в Петропавловской крепости. За границей тоже почему-то переезжал из отеля в отель, снимал комнаты, пансионаты. Вел жизнь скитальца. Нигде у него не было дома, дома оседло-постоянного, своего. Впервые в Старой Руссе он появился. Ему понравился этот уездный городок, особый, со своей физиономией – с курортом, солеными озерами, со своей тишиной и бойкостью, один из самых живописных уездных городков России.

Все близлежащие улицы, переулки стали ныне тоже частью музея-мемориала. Георгий Иванович рассказывал о своих захватнических хлопотах и выкрикивал попреки в адрес московского музея, не желающего отдать принадлежащие старорусскому дому экспонаты; гордился тем, что владеет архивом внука Достоевского, Андрея Федоровича. И еще кое-что имеет!

Я любовался его пылкостью. Роговые очки его горячо взблескивали, черные глаза пронизывали меня испытующе – не грешен ли я чем перед памятью Достоевского? Он не пощадил бы меня и нашу старую дружбу. Недавний инсульт нисколько не испугал его, а сделал еще бесстрашнее.

После сдержанно-расчетливых служащих с набором взвешенных фраз, уютно-дозволенных отдушин-хобби в виде охоты или рыбалки, после благоразумных литературоведов, считающих печатные работы и оплачиваемые листы, после огородников, любителей-садоводов, подписчиков на собрания сочинений, болельщиков футбола, туристов с роскошными цветными палатками, автомобилистов, городошников, он производил впечатление нездешнего и счастливого безумца. Я завидовал ему, его возвышенной страсти, которая не уживалась ни с каким хобби. Жить ему осталось немного, как он считал, но, во всяком случае, он должен дожить до столетия со дня смерти Достоевского. Такой срок он поставил себе.

IX

Темнело, когда мы очутились на Дмитриевской улице. Дома у меня было несколько дореволюционных открыток с этой Дмитриевской. Ее почему-то любили снимать на почтовые открытки. Старой Руссе вообще повезло на открытки: черно-белые, цветные, их десятки, а может, и сотни – с видами курорта, пожарного депо, монастыря, Введенской церкви, площади, но больше всего Дмитриевской улицы.

Ничего примечательного в ней не было. Но Георгий Иванович показал мне на нее, как показывали в Лондоне на Пикадилли или Даунинг-стрит или в Нью-Йорке на Уолл-стрит. Эта улица была связана с действием романа «Братья Карамазовы». Он показал забор сада, через который лазила Лизавета, улицы, по которым бежал Митя в день убийства отца. Мы прошли по этому маршруту, оказывается точно указанному в романе, сделали петлю, какую сделал Митя, прежде чем перебежал по мосту речку Смердящую, или нынешнюю Малашку. Показал двухэтажный гайдебуровский дом, который тоже участвует в романе, и объяснил, почему он участвует в виде одноэтажного домишки. А здесь место, где сидел в засаде Митя Карамазов, высматривая Грушеньку, вот здесь и сама Грушенька, то есть Грушенька Меньшова, шла по набережной навстречу Достоевскому. Начальник же коммунального отдела товарищ Л. снес мостик через Малашку. Товарищу Л. было безразлично, какой из братьев Карамазовых и зачем бежал по этому мостику, тем более что все это выдумки писателя, хотя он и состоит классиком. Товарищ Л. был реалист: роман – это сочинение, следовательно, не факт, а фантазия. Если бы сам Достоевский или любой другой классик ценил этот мостик, бывал на нем, встречался со своими единомышленниками, что было бы подтверждено документами, тогда и спору нет, мостик стал бы исторической ценностью, поддерживался и охранялся. Без этого мостик как таковой не представляет ныне пешеходной необходимости, и незачем из-за него поднимать шум.

Чем мог Георгий Иванович, директор едва народившегося музея, воздействовать на городского начальника? Бумаги, докладные? Писал. К ним притерпелись. В конце пути они попадали к Л. с надписями неуверенными, озадаченными: «Надо помочь», «Разберитесь», «Внести в план». У товарища Л. хватало и без этого мостика горящих точек. Он не был ни рутинером, ни мракобесом, наоборот, именно потому, что он пекся о городских нуждах, он не хотел тратить скудные коммунальные средства на эту непонятную ему работу, невыигрышную, ненасущную...

Однако Георгий Иванович был не только директором, по совместительству он был еще и экскурсоводом, а эта совсем уже маленькая должность, оказалось, обладает некой возможностью: Георгий Иванович стал рассказывать группам, которые он водил по памятным местам Достоевского, что вот здесь был мостик, по которому бежал Митя Карамазов, к сожалению, мостик сломан товарищем Л., не желающим его восстановить... В каждой группе находились возмущенные, из них один-два доводили свое возмущение до дела – писали жалобы на товарища Л. Письма шли во все инстанции. Вскоре Л. взмолился: «За что ты меня позоришь перед людьми?» Мостик был восстановлен. При этом вполне возможно, что товарищ Л. так и не понял до конца смысла стараний Георгия Ивановича, ибо не так-то просто поверить в такую реальность жизни героев романа.

Несколько лет Георгий Иванович потратил, составляя карту происходящего в романе «Братья Карамазовы», разыскивая места, упомянутые в тексте, случал и устанавливал, где кто жил, какой именно дом описан. Он располагал действие романа в городе тех лет, расшифровывал, выяснял по архивным источникам, уверенный, что все должно сойтись. С трудом нашел дом Катерины Ивановны на Большой улице, сорок лет он искал дом Хохлаковой, почти разыскал, то есть определил, какой из домов это был, поскольку домов этих давно нет, нашел его фотографию. Сколько он бился с Михайловской улицей: почему Достоевский назвал ее Михайловской, когда на самом-то деле речь шла о Пятницкой улице...

Стоили ли подобные розыски таких усилий? Разве так существенно, где когда-то стоял тот или иной дом? Да ведь, по совести говоря, Старая Русса выбрана под место действия романа «Братья Карамазовы» случайно. Жил бы Достоевский в Боровичах, может, действие происходило бы в Боровичах. Мне трудно было судить о доказательности некоторых открытий Георгия Ивановича. Так, с точки зрения научной, история о том, почему Пятницкая была названа Достоевским Михайловской, показалась мне слабо подкрепленной. Но лично для меня вся эта кропотливейшая, вроде бы ничего не определяющая работа Георгия Ивановича совпала с тем, что делал в Ленинграде внук Достоевского Андрей Федорович Достоевский, определяя

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru место действия романа «Преступление и наказание». Он водил меня в каморку Раскольников, показывал место, где Раскольников запрятал драгоценности, мы поднимались по узкой лестнице в участок к Порфирию Порфирьевичу. С тех пор я не раз показывал найденные им дома и приезжим друзьям, и ленинградцам и даже написал про это. Так что отчасти я был подготовлен, тем более что во всех книгах о Достоевском всегда говорилось про Старую Руссу как про место действия романа.

Владимирская церковь в Старой Руссе давно разрушена. На месте ее стоят жилые дома. Она была рубленой, деревянной, крестообразной в плане. Построена она была где-то в начале XVII века. Во всяком случае, в 1625 году она уже значилась как церковь Владимирской Божьей Матери, что у реки Порусьи. Стояла она до самой войны, Георгий Иванович ее помнит. От нее до дома штабс-капитана Снегирева должно было быть согласно роману триста шагов. По просьбе Георгия Ивановича я шел и считал шаги и верил и не верил, хотел, чтобы было триста, и не хотел. Уже стемнело. Свет падал из освещенных окон. Улица была без фонарей, исчезла трава, панель, улица состояла из шагов. Точно так же меня вел Андрей Федорович по Подъяческой улице в Ленинграде, и мы считали шаги от дома Раскольников до дома его жертвы – старухи процентщицы, их должно было быть семьсот пятьдесят. Станный это был писательский прием – точно вымерять расстояния, не вообще, а как бы решающие, когда из этих шагов складывается самый, может, наиважнейший жизненный шаг героев. Вот сейчас навстречу мне мальчики на руках несли гроб Илюшечки...

Быстрый голос Георгия Ивановича доносился из тьмы, то взлетая, то куда-то теряясь, как будто он там отбивался от множества спорщиков. Беспорядочность его речи имела свой смысл – он свободно тасовал десятилетия, мимолетное и вечное. Выдумки и реальность сплетались в тугую косу. Звездный свет вечности падал на мелкие подробности жизни, и от этого размеры и смысл вещей смешались. Время, казалось, ничего не могло поделаться с человеческими страстями. Литература поселялась в здешних кварталах, дома обретали хозяев, которые на самом-то деле никогда в них не жили и не были занесены ни в какие списки и тем не менее были куда реальнее, чем те, давно умершие, исчезнувшие из памяти обывателя уездного городка.

«Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу с грязным двором...» Там живет штабс-капитан Снегирев. Кто жил там в действительности, неизвестно, литературоведов не занимают фактические жильцы... И получалось, что спустя сто лет для нас реальными стали не те люди, что здесь жили, а те, что были рождены фантазией писателя, мы знаем о них куда больше, представляем во всех подробностях их быт. Придуманное стало явью, имеющей плоть, историю, адреса. Чего стоила одна только фраза, прозвучавшая сейчас над моим ухом: «Здесь стоял дом, где снимал квартиру штабс-капитан Снегирев».

Ровно триста шагов. Мы стояли на перекрестке. Сюда пришел Алеша с деньгами возместить бесчестие, причиненное его братом Митей.

Что же это такое – природа, реальность жизни, думал я, если гений может создать человека более реального, чем натуральный человек, вдохнуть в него жизнь, наделить его бессмертием? Да что там человека – целый мир может создать, потому что те же «Братья Карамазовы» – это целый мир, эпос России.

Сегодня утром Андриан говорил мне:

– Дай ученым задание – создать василек, обыкновенный цветочек василек. Пусть организуют для этого целый институт. Десять лет будут работать и не смогут создать. Миллиарды потратят и не то что цветок – лопух, крапиву не создадут. А художник напишет – и будет василек. Нет, брат, искусство сильнее науки!

Х

Переулочек, где спала Лизавета, прямо в крапиве спала, в лопушнике, тоже имеется в полной сохранности, с той же крапивой и большими лопухами.

Однажды мэром города услышал на симпозиуме, как цитируют из романа описание этого переулочка: «По обе стороны переулочка шел плетень, за которым тянулись огороды

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru прилежащих домов; переулок же выходил на мостик через нашу вонючую и длинную лужу, которую у нас принято называть иногда речкой. У плетня, в крапиве и лопушнике, усмотрела наша компания спящую Лизавету». Такое описание переулка, по мнению мэра, позорило город, и он распорядился немедленно привести переулок в порядок, замостить, заасфальтировать и чтоб, в отличие от царского времени, – никаких лопухов! Желание его было естественнейшим, тем более что переулок, можно сказать, исторический, но не менее естественным был и гнев Георгия Ивановича, грудью вставшего на защиту своих лопушков. Надо отдать должное мэру: человек умный, он вскоре поднял руки вверх, уяснив, что переулок этот ценен именно в таком неблагоустроенном, натуральном виде, что, между прочим, для психологии любого мэра принять не так-то легко.

Бурьян яростно рос по переулку, поощряемый отныне городскими властями. Мне вдруг вспомнился Мельбурн, университет, преподаватели-слависты, наш разговор о Достоевском: они знали про Старую Руссу, изучали места действия, значит, и этот переулок представляли, где, может, был зачат Смердяков. Вспомнились разговоры о Достоевском в университетах Стокгольма, Токио, Калифорнии. Всюду изучали Достоевского, как, может, никого из других писателей, во всем мире читали и читают про этот лопух вдоль плетня, пишут исследования про роман, исследования, в которых есть и про этот город, и про эти места. И будут еще долго нас писать и предлагать свои толкования, решать загадки, поставленные романом. Я вдруг ощутил как бы всемирную историчность этого переулочка и набережной этой маленькой, нигде не обозначенной речки Перерытицы. Места, известные всем читателям Достоевского. Не тем, что он жил тут, а прежде всего через героев романа. Отчасти я даже был смущен нахальством этой своей мысли, не так-то легко было свыкнуться с тем, что кружение этих деревянных улочек, мостиков, скрипучих ворот, зацветших ряской канав, привычных мне с детства, пользуется славой подобно лондонской Бейкер-стрит, где жил Шерлок Холмс, или набережной Невы, где гулял Евгений Онегин. И мемориал этот единственный в своем роде, поразительный, как если бы, допустим, в Испании сохранились бы ветряная мельница, трактир и прочие места скитаний Дон Кихота.

Как будто ни война, ни время не были властны над этими местами, словно бы гений Достоевского охранил их, вызвал вновь из небытия. Они не в пример моим Кислицам существовали независимо от обстоятельств жизни. Конечно, это было не совсем так, я как бы вывел за скобки и энтузиазм Георгия Ивановича, и все, что делали горсовет и горком партии, чтобы восстановить этот мемориал. Но ведь и усилия этих людей были тоже воспламенены силою романов Достоевского, удивительным воздействием, какое оказывает его творчество на каждого, кто так или иначе соприкасается с ним.

Не раз я замечал странности этого влияния. Именно странности. Мы недолюбливаем это понятие, стараемся объяснить странное, растворить его научными реактивами, изгнать из обихода – примерно так, как в старину изгоняли бесов, – мы заменяем его «стечением обстоятельств», заклинаем теорией вероятности, интуицией. Вместо «судьбы» мы говорим «случайность», «склонность». И тем не менее... Георгий Иванович родился ровно через сто лет после рождения Достоевского, в доме Гайдебуровых, напротив дома Достоевского. И в школе, где он преподавал историю, и на войне, командуя батареей, он мечтал заняться Достоевским. Всякий раз возникали то более срочные, то более нужные дела, но он настойчиво готовил себя, верил, что рано или поздно придет в дом Достоевского. Он как бы все примечал впрок для будущей работы. Так заметил он камень возле жилища Снегирева; оказывается, это не выдумка Достоевского, лежал здесь такой камень, с которого Алеша обратился с речью к мальчикам. Несколько лет назад еще лежал, так ведь подкопали и уволокли в порядке благоустройства, недоглядел; но ничего, он вызнал, куда именно свезли, и вскоре он вернет его на место. Ему нужен тот самый камень, никакой другой. Если б это был не камень, а гора, он и гору вернул бы, вера его, убежденность действительно могут двигать горами.

XI

Где живут мои герои, в каких домах, на каких улицах? Мне никогда не приходило в голову подыскивать им точные адреса, поселять их в реальных квартирах, проследивать маршруты их прогулок, находить в городе места их встреч. Разве что случайно, попутно выпадало упомянуть, допустим, Петропавловскую крепость или Литейный проспект.

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
У Достоевского же тщательность описания касается не только города, но и обстановки жилья, описание позволяет прямо-таки воссоздать ее в точности, как на рисунке, со всеми подробностями расположения и качества предметов. Вот, допустим, жилье того же штабс-капитана Снегирева:

«Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну через всю комнату была протянута веревка, на которой было развешано разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати, справа, виднелась лишь одна, очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою через веревку, протянутую поперек угла. За этой занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к срединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые, заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал недоеденный ломоть хлеба и сверх того находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на доньшке».

Согласно этому описанию можно изготовить макет, декорацию, план, картину. Больше ничего и не надо, все сведения имеются. Достоевский не часто прибегает к столь подробному изображению. Здесь оно подготовлено ходом событий, состоянием Алеши, его пристальный взгляд должен замечать и фиксировать все эти вещи, и, в свою очередь, то, что он видит – бедность, – многое определяет в его состоянии, действиях.

С бесстрашием фотообъектива отмечаются бытовые детали, казалось бы, заурядные для того времени, примелькавшиеся, незамечаемые: «...горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше». Все равно что в нынешней квартире упомянуть электрический счетчик, стены, оклеенные бумажными обоями. В том-то и дело, что не совсем так. Достоевский производит тщательный отбор – и ситцевые подушки, и окна в четыре стекла нужны ему для социальной, для семейной характеристики. Перед нами бедность типичная, но и бедность индивидуальная – семьи отставного штабс-капитана. Полвека назад детали эти прочитывались, вероятно, иначе, чем нынешними читателями. Сегодня они обрели еще ценность историческую. И в нашем быту вещи меняются, они отмечают конкретное время, уровень жизни, среду, поколение, моду... Мы почему-то неохотно и редко изображаем предметность нашего бытия. Пренебрегаем описанием современных гастрономов, столовых, вида денег, посуды, обуви, мебели, тех же кроватей. Сегодняшние герои большей частью живут среди вещей обезличенных, едят за неким столом некий суп из некой тарелки, носят вообще спецовку, вешают ее в абстрактный шкаф, стоящий в абстрактной квартире. В русской литературе предметность описания была свойственна и Пушкину, и Гоголю, и Тургеневу. По «Евгению Онегину» можно представить, как одевались, что было модно, что вышло из моды, какие пили вина, какие книги читали в разных кругах общества, как выглядели альбомы уездных барышень, что за лошади были упряжные, верховые и как заряжали пистолеты:

...Гремит о шомпол молоток,
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок,
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще...

Или мельканье московских улиц перед глазами Татьяны:

...вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы,
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XII

Я вспомнил улицу Пестеля, где мы жили, когда приезжали в Ленинград. Улица Пестеля, бывшая Пантелеймоновская, как спрашивали ее еще не привыкшие к переименованиям питерцы, замкнутая двумя церквями, в начале Пантелеймоновской и в конце Спасо-Преображенским собором.

Магазин братьев Чешуриных – молочный магазин, выложенный белым кафелем, там в деревянных кадках стояла сметана разных сортов, творог, молоко в бидонах, масла, сыры. Сами братья-нэпманы орудовали в белых фартуках с черными блестящими наруканниками. А на углу Литейного, там, где теперь кондитерская, была тоже кондитерская «Ландрин», уж не помню, частная или же кооперативная. В конце улицы, у Соляного, была булочная Филиппова. Утром я бежал туда за горячими булочками, мать посылала меня. Был еще какой-то магазин «Лора». Шли по Литейному трамвай с колбасой – резиновым шлангом на задней стенке (для пневматики, что ли?). Мы за него цеплялись и ехали бесплатно. «Колбасники!» – кричали нам кондукторы. Мостовые были вымощены деревянными шашками, тротуары – плитками, ворота на ночь запирались, парадные тоже, дежурные дворники сидели у ворот, а поздно ночью уходили в свои дворнички. У нас дворничка была в подворотне, туда был проведен звонок, дворники открывали, и отец давал за это двугривенный, а один раз у него мелочи не было и он дал дворнику бумажку, то ли рубль, то ли червонец, и стал извиняться перед ним.

У Спасского собора стояли пушки. На самом деле собор этот назывался Преображенский всей гвардии собор, но местные прихожане звали его Спасским собором. Вокруг собора на каменных фундаментах высились турецкие пушки – главная радость наших детских игр. Ни у кого не было таких роскошных игрушек. Двенадцать старинных орудий на лафетах, с ядрами. Ограда тоже была сделана из пушечных стволов и цепей, на которых было так удобно качаться. У каждого двора была своя пушка, обтертая нашими штанами до бронзового блеска. Какие там гремели сражения, битвы, какие полководцы там действовали!

В вербное воскресенье на площади перед церковью устраивалась ярмарка. Крутилась обитая черным бархатом карусель. Играла шарманка. Китайцы продавали скрипучки, веера, чертиков, тещины языки, «уйди-уйди» и «чемберленов». В других ларьках продавали пряники, длинные конфеты, обкрученные по спирали ленточками, моченые яблоки, конечно, семечки, причем разных сортов – семечки жареные, сырые, тыквенные, чищенные. Семечки – главное удовольствие всех сборищ конца двадцатых-тридцатых годов, бедствие клубов и кинотеатров. Полы, закиданные лузгой, наши непрестанно щелкающие, сплевывающие рты.

На лотках торговали маковками – асфальтового цвета ромбиками, сваренными в сахаре из мака, постным сахаром всех цветов, мягким, вкусным.

Куда-то они исчезли после войны, начисто исчезли все лакомства нашего детства, даже не проверишь теперь – действительно ли так это вкусно, как помнится?

А может, и хорошо, что не проверишь.

Громыхали по улице ломовые извозчики, под телегой моталось ведро, позади прикреплен номер. Ехали грузовики АМО, легковые машины «линкольн», пролетки, катились ручные тележки, шли татары-«халатники» с мешками, почему-то обязательно полосатыми, в них собирали тряпье, бутылки, кости, шли точильщики со своими точилами из разных кругов, розовых и серых, шли стекольщики с ящиком поблескивающего зеленоватого стекла, трубочисты с черными щетками и ложками, пильщики дров – за кушаком топор, лудильщики...

Сколько их было, разного рода мастеровых! Маляры с кистями и ведерками, полотеры, измазанные коричневой своей мастикой, обойщики. Я застал уже самый конец, раньше улица, наверное, была еще пестрее, но и то – как пестро, и разно, и красиво помнится уличная толпа 1926–1928 годов, когда еще царил ручной труд со всеми его невзгодами, низкой производительностью, но и с его искусностью.

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Чистильщики сапог сидели на углах. Зимой они ваксили сапоги, ботинки, летом мазали белые парусиновые туфли разведенным мелом. Многие в городе зимой ходили в валенках. А по Неве мы катались на лыжах. Нева замерзала прочно и ровно, без торосов.

В нашем доме была часовая мастерская. За большим витринным стеклом сидели часовщики, вставив лупы в глаза. Помню лысоватые их головы, всегда склоненные над рассыпанными шестеренками, и рядом в портняжной склоненные головы женщин над швейными машинками: плиссе, гофре, закрутка...

На углу Моховой был закрытый распределитель «Красная звезда», были магазины ЛСПО, ЗРК, к магазинам прикреплялись, на заборной книжке ставился штамп магазина, и только там можно было «отовариваться». Все это были слова тех лет, не собранные ни в один словарь. Заборные книжки выдавали в конторах жактов по бумажкам, которые назывались несгибайками. За квартиру платили по так называемым жировкам – жиро-приказам.

В нашем доме доживали «бывшие». Наверху жила баронесса Шталь, ниже граф Татищев, ставший у нас управдомом. Когда его называли бывшим графом, он обижался: граф – это не должность, говорил он, а порода. Не может быть бывший доберман-пинчер. Он, кажется, был хорошим управдомом, он все знал, все подвалы, водопровод, чердаки.

Население было самое смешанное. Поселился веселый курчавый парень из чека, звали его Илья; жил директор фабрики чернильных приборов; жили две работницы папиросной фабрики. В большие квартиры подселяли и подселяли заводских. Квартиры становились коммунальными, шумными, но сохранялся еще старый уклад домовой жизни. По черной лестнице дворники таскали дрова вязанками. Платили с вязанки. По черному ходу выносили помойные ведра, ходили на чердак вешать белье, по черному в квартиры приходили цыганки гадать, появлялись печники, трубочисты, прачки... Да, ведь были прачки, одна жила у нас в доме, была во дворе прачечная, где мать сама стирала, а иногда отдавала прачке. Во дворе выбивали ковры, кололи дрова, обойщики потрошили матрасы, собирались квартироуполномоченные. Во двор приходили шарманщики, певцы, цыгане, скрипачи, а то и целые ансамбли – трио, квартеты. Жильцы высовывались в окна, слушали представление, кидали завернутые в бумажку монеты. Мы бегали, подбирали, отдавали музыкантам. Какой-нибудь пятак завалится за поленницу, бросивший кричит из окна, показывает, мы носимся – кто скорей найдет. Двор был сложным организмом со своими странностями и правилами. Двор имел своих лидеров, свои компании. У нас главой была дворничиха Шура с сыном Степой, дочерью Аськой и множеством быстро сменяющихся мужей.

Во дворе была огромная, с чугунной крышкой на блоках, помойка. Она находилась в темной нише, там бегали крысы, рылись старьевщики. Я теперь плохо представляю себе, каким образом в ней умещались все отходы огромного дома, когда и как успевали ее опоражнить.

Мужчины ходили в желтых кожаных крагах, в калошах, а женщины в фетровых высоких ботиках или тоже в калошах с каблучками. Появились макинтоши. Все больше было велосипедистов. По улице ездили конные милиционеры в белых гимнастерках, а зимой – в шинелях с башлыками. Ездили похоронные дроги, белые, но были и черные, с резными колоннами, высокими колесами. Существовали керосиновые лавки, мы ходили туда с бидонами и брали отдельно в бутылочку бензин для разжигания примусов или денатурат.

Всю еду готовили главным образом на примусах. Плиту топили редко. На кухнях гудели примуса по три, четыре сразу. Примуса эти составили целую эпоху городского быта, это была целая отрасль, система, стиль.

Примуса взрывались, возникали пожары. Примус требовал наблюдения, чистки, была сеть мастерских по ремонту примусов. Были еще тихие керосинки, были духовые утюги, доживали самовары, их растапливали на черном ходу. Были угары от печей, от угаров спасались нашатырным спиртом. Вся эта бытовая техника ныне вспоминается с жалостью. Как трудно, мучительно приходилось нашим матерям, сколько сил требовалось, чтобы сготовить, истопить, постирать, выгладить!

Сколько разных предметов исчезло из нашей жизни! Одни разом, другие постепенно, вроде крынок, горшков и прочих гончарных изделий. Не стало щипцов для завивки, стеклянных чернильниц, мужчин-почтальонов, вставочек, жестяных вывесок на

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
магазинах. Перестали продавать землянику. Ее, первую летнюю ягоду, продавали
стаканчиками на улицах, потом только на рынках, потом она вообще как-то исчезла.

Лошадям подвязывали к морде торбу с овсом, лошадь стояла и хрупала, время от
времени встряхивая этой холщовой торбой.

Долго еще частными оставались на нашей улице парикмахерские – «Поль», «Борис», в
одной из них красовался большой, раскрашенный фотопортрет Евы
Бандровской-Турской, польской певицы, которая приезжала к нам на гастроли.

Появились торгсины. Это уже было на Литейном. Там был центр по сравнению с нашей
улицей. Там царили букинисты и продавались коллекционные марки, там было кино,
там ходила другая публика: студенты, инженеры, на некоторых еще были форменные
фуражки с молоточками, там шли с портфелями, папками, там гоняли нищих.

По Литейному шли демонстрации, вывешивали флаги: на 21 января с черной каймой,
на 18 Марта, 7 Ноября, 1 Мая – красные. В витринах выставляли портреты вождей,
обвитые шелком и цветами. Карикатуры на империалистов. Над воротами вешали знаки
Осоавиахима с пропеллером, знаки МОПРа, срывая старые жестянки страховых
компаний.

Все эти приметы прошлого сейчас видятся куда лучше примет нынешней жизни, тоже
ведь интереснейших и неповторимых. Мы их не замечаем, вернее, не обращаем на них
внимания как на само собою разумеющееся, а ведь они тоже временны, и сроки их
кратки.

XIII

Митя Карамазов, схватив медный пестик, мчится к отцу, но, вместо того чтобы
бежать напрямую, делает петлю:

«Он обежал большим крюком, через переулок, дом Федора Павловича, пробежал
Дмитриевскую улицу, пробежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на
задах, пустой и необитаемый, отгороженный с одной стороны плетнем соседского
огорода, а с другой – крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора
Павловича».

Нам все равно, какую улицу пробежал Митя – Дмитриевскую или Петровскую, были ли
эти улицы в Старой Руссе или автор придумал их. Вроде бы для нас ничего это не
меняет. А вот для Достоевского, значит, нужда была, и настоящая, в таком
точном соответствии. Специально выбирал улицы, размещал, расставлял своих
героев, как режиссер, чтобы наглядно увидеть, как это было. Или же знакомые
улицы, места бессознательно подвергались ему в ходе повествования?..

Про «Преступление и наказание» я уже пробовал высказать, для чего понадобилась
Достоевскому такая метода. И здесь, в Старой Руссе, про «Братьев Карамазовых»
ничего нового я не придумал. Был, видимо, во всем этом реализм в высшем смысле,
какой имеет в виду Достоевский, говоря о своей работе. Подлинность места
действия, может, освобождала фантазию писателя, может, придавала ей опору
действительной жизни. Как бы там ни было, топографическая точность описаний,
пусть неведомая читателю, существует как подводная часть айсберга.

Мы шли мимо темных домов, чувствовалось, что они жилые, населенные. Тепло спящих
людей каким-то образом доходило к нам. Так и у Достоевского – конкретность
Старой Руссы действует на наше читательское сознание, вернее, подсознание.

Настоятельная потребность определенности окружающей обстановки, ее точности,
жесткой привязки, то есть однозначности, сочетается у Достоевского как ни у кого
другого с многозначностью поступков, характеров, идей его героев.

В каждом серьезном исследовании романы Достоевского понимаются по-своему.
Существует немало толкований легенды о великом инквизиторе, и ни одно из них не
стало исчерпывающим. Разно трактуют поведение каждого из братьев Карамазовых,
образы Ивана, и Мити, и Смердякова, причины убийства Федора Павловича,
самоубийство Смердякова, идею Алеши, его религиозность.

Действия героев часто необъяснимы, вызывают множество вопросов. Мы догадываемся,
Страница 20

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
что толкает их на те или иные поступки, и в то же время не можем до конца быть уверены, что все обстоит именно так. Хотя, казалось бы, сами герои предлагают нам объяснения правдоподобные, искренние, и все же мы им не всегда верим. В чем же тут дело? Откуда исходит эта поразительная, может, единственная в литературе множественность пониманий, этот постоянно ускользающий от нас смысл, эта загадочность авторского замысла, который многие годы еще будет открываться и открываться новыми своими сторонами? Знал ли сам Достоевский тайну своих героев? А что как он, создатель, и сам не знал этой тайны? «Человек – это тайна», – неоднократно писал он и относился к человеку как к существу, которое нельзя измерить разумом и логикой, разложить на составные элементы. Он рассматривал своих героев отстраненно, пытался объяснить их поведение, анализировал, предлагал те или иные версии, пытался угадать мотивы, причины. Иногда ему удавалось подойти к истине, иногда и не получалось. Сами герои не могли помочь ему. Собственные их объяснения не сходились с их действиями, как это бывает у живых людей, даже мысли их не отражали до конца внутренних побуждений, того подсознательного, в чем человек не признается и себе. Но разве мы всегда способны уяснить неожиданные внутренние толчки, смены своих настроений? Человек и для себя бывает тайной.

Иван Карамазов во время разговора со Смердяковым поступает все время вопреки своим намерениям:

«...„Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!“ – полетело было с языка его, но, к величайшему удивлению его, слетело с языка совсем другое:

– что батюшка, спит или проснулся? – тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку».

«Припоминая потом, долго спустя, эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал – подолгу, минут по пяти со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал – конечно, и сам не знал.»

Любопытно тут словечко «конечно». В том-то и дело, что на каждом шагу его герои ведут себя непредвиденно, противоречиво. Собственное «я» для них непостижимо и чужое «я» также, хотя его-то они пытаются все время объяснить. И только автор, даже не автор, а тот неуловимый рассказчик, который ведет повествование в «Братьях Карамазовых», позволяет признаться себе в непостижимости иных моментов жизни героев. Вот, например, про внезапный уход Алеши из монастыря: «Тем не менее признаюсь откровенно, что самому мне очень было трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа».

Кто это говорит? Чьи это слова? Автор? Нет, автор не может так признаваться в своей беспомощности, это выглядело бы попой, претензией, похвальбой, а вот рассказчик, некое третье лицо, он может, через него-то автор как бы получает право показать непроницаемость чужого «я». Из романа в какой-то мере удаляется всезнающий наблюдатель, божественная персона автора, которому известны и мысли, и мотивы, и все связи между движениями души и тела героев, и все вихри, проходящие сквозь их сердца. Рассказчик освобождает автора, снимает с него ответственность, позволяет отойти в сторонку и увидеть этот мир с какого-то иного поворота.

XIV

Густая темная теплынь несла нас от фонаря к фонарю, мимо шумных компаний с гитарами, мимо безмолвных парочек и одиноких пьяных.

Старая Русса времен Достоевского, погруженная в провинциальную спячку, – город малограмотных мещан, имевших мало общего с теми людьми сложных и высоких страстей, каких изображал Достоевский. Город был для него местом действия, а не обителью его прототипов. Они не жители Старой Руссы прошлого века, лишенной умственной жизни, они во многом условны и говорят иначе, языком часто возвышенным, по своему развитию, образованию они выше современных им обитателей

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru города. Взять хотя бы мальчиков-школьников, того же Колю Красоткина. Да автору и не нужно такое соответствие, у него иные задачи. Но об этом достаточно написано специалистами, хотя бы М. М. Бахтиным.

О его блестящих исследованиях и говорил мне сейчас Георгий Иванович, выводя из них с запалом и категоричностью превосходство Достоевского над всеми писателями мира, разве только с Данте и Гомером сопоставлял его гений. Среди самых верных поклонников Достоевского я не встречал более восторженного и деятельного. В своей любви к Достоевскому он как бы обезличивал себя, не оставляя времени даже для публикации своих скромных работ, никак и ничем не утверждая себя, а все только своего Федора Михайловича, имея в виду только интересы его памяти, его славы, его мемориала.

Он занялся этим музеем, вроде бы воплощая свою мечту, проверяя себя как личность, и в этом, как и многие страстные натуры, дошел до отказа от себя, полностью растворяя себя в служении своему кумиру. Как это сочеталось в нем? Откуда он черпал свой пылающий энтузиазм и чем поддерживал его? В его воспаленной отзывчивости временами появлялась сверхчувствительность. Как будто он воспринимал неслышимые обычному уху частоты. Я знал его давно, но только сейчас начал ощущать, сколько в нем непонятого. Так же как и в Андриане Савельиче, неустанном философе, который успел осмыслить все, кроме собственной жизни. Его ум не помогал ему, его размышлениям всегда что-то мешало превратиться в убеждения. Философия расплавляла его характер. Этим летом он отдал свой садовый домик малоизвестной женщине с больным ребенком, а сыну своему пожалел дать лодку на отпуск. Он каждым поступком противоречил себе, делал как бы себе наперекор. Я знал его и не понимал его. Да что Андриан – дочь моя, которая выросла у меня на глазах, у которой я знал каждую родинку, разве я знал, почему она сменила свои увлечения? Она была мне непонятнее, может, всех других людей. Я огляделся и обнаружил, что самые близкие мне люди часто таинственны в своих действиях и я не понимаю, что ими движет. Слово это «черные ящики»; я знаю только, что они говорят, что делают, но не знаю почему. А я сам для себя разве не бываю тоже «черным ящиком»? Почему, например, таким важным показался мне этот мемориал?

Город выделил целый район с набережной до Первомайского моста и несколькими улицами вокруг дома Достоевского, там все будет оставлено как есть. Восстановят старые фонари, тумбы. Никаких новшеств не будет. Даже бетонные столбы, какими хотели укрепить откосы набережной, и те решили заменить деревянными. Прошное получит свою жилплощадь.

Почему меня вдруг так утешил этот мемориал, где все равно подлинного будет немного? При чем тут были мои кислицы? какое возмещение мне тут почуялось? Ведь и связей никаких прямых не было, а отчего-то тоска и злость утихли.

У моста, в «Голубом Дунае», пиво кончилось, мужчины допивали дрянное «плодово-ягодное» – «бормотуху». Седой, хорошо выбритый мужчина с отвислыми щеками жадно посмотрел на меня. Он томился без собеседника. Он был из тех, кто любил пить под беседу.

– За ваше здоровье, – поднял он стакан. – Извиняюсь, вы, видно, приезжий? Насчет Достоевского? Раз вы с Георгием Ивановичем тут прощались, значит, не иначе как Достоевский. Я ведь живу поблизости от музея, у нас домик, вот мы и попали в мемориал. Гараж железный собирался ставить. Запрещают. Георгий Иванович. Мол, гараж нарушает картину. Асфальтировать улицу тоже не дают. Ровно крепостные мы... у этого писателя. Вы не подумайте, что жалуюсь. Я человек грамотный. У меня сын майор. Я вот, извините, конечно, хочу вас спросить. Вы не подумайте, я к вам с полной симпатией. Это бывает, один человек не понравится, другой наоборот. Незнакомые, а откуда-то возникает. Если никаких данных нет, то откуда – это тоже вопрос. Но я не про это. Прочел я в целом роман «Братья Карамазовы». С точки зрения культурно-исторических ценностей города, поскольку тут живем, на месте происшествий, экскурсии мимо ходят, специально люди приезжают. Весь отпуск читал. В целом заверчено умно, выходит, все виноваты, все способствовали убийству отца. Чувствуете? Я как отец очень понимаю. Но это ладно, это, умеючи, можно, а вы другое скажите: вот черт Ивану говорит, что если в пространство подальше запустить топор, то он примется летать вокруг Земли в виде спутника. Так и написано: в виде спутника. Сто лет назад. Это я точно посмотрел дату. Какие, спрашивается, спутники были тогда? Откуда он это взял? И ведь обратите внимание – запустить топор! Символ-то какой выбрал! Вы мне сошлетесь, что это

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
черт говорит, мол, чертовщина, сказки. Но ведь черт тоже что-то обозначает. Я же понимаю. Нет, вы окиньте мыслью – появится спутник! Вы, извиняюсь, это место помните? Вот как вы можете это объяснить? Разве допустимо представить такое точное предсказание?

Он спрашивал громко, так что все смотрели на нас; торжествуя, он напирал на меня с какой-то неподвижностью во взгляде, как бы застряв на этой мысли и приходя во все большее возбуждение.

– Я все проверил, мало ли, думаю, подновили, взял нарочно издание, напечатанное еще до революции. Совпадает. Буква в букву. Как вы расцениваете? Вот я вас спрашиваю, каким образом ему стало известно про космические достижения? Ведь что же тогда получается? Может, ему еще что-нибудь известно?

– Конечно.

– То есть как это?

– Ничего удивительного, – сказал я. – Английский писатель Свифт написал про спутники Марса, а их открыли через сто пятьдесят лет. Это среди хороших писателей принято.

– Да что вы говорите! Что принято? – почти закричал он и с лязгом распустил «молнию» своей нейлоновой куртки. – Ведь это никто не разрешит. Это нарушение всех научных законов. Вы объясните.

– Пожалуйста. – Я наклонился к нему и сказал тихо: – Достоевский был заброшен к нам из будущего, из двухтысячного года.

Глаза его округлились, рот приоткрылся, отвислые щеки втянулись. Порозовели, и я вдруг увидел мальчика с ворохом желтых волос, щербатым ртом, увидел Петьку-хромого, нашего коновода в Кислицах.

– Нет, дорогой товарищ, уж раз вы начали, вы нам растолкуйте: что значит заброшен, с какой целью заброшен? Такими вещами не шутят.

– Машина времени, – сказал я. – Слыхали? Уэллс, Жюль Верн про Луну предсказали. Пушкин – «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Откуда он знал? Писатели и поэты откуда-то знают, у них есть какая-то связь с будущим. Простите, не знаю вашего имени-отчества.

– Петр Сергеевич.

– Вы, Петр Сергеевич, совершенно справедливо заметили, что Достоевскому, вероятно, еще кое-что известно. Беда наша, что обнаружить это в его книгах мы пока не в состоянии. Не видим мы еще, не дожили...

Заглянув мне в глаза, он тоненько рассмеялся, опрокинул в рот остатки вина, сморщился.

– Предвидение у выдающихся классиков бывает. Но в пределах! Разве же такое расхождение с наукой разрешат? От этого в физике может расстройство получиться. Напрасно вы поддерживаете, с такими фактами далеко можно зайти, ой далеко. Я лично полагаю, что специалисты должны изучить это явление. Так оставлять нельзя. – Он ударил стаканом о прилавок, вот так-то, мол, и что-то еще сказал, но я не слышал, я разглядывал его со всех сторон. – Вы человек образованный, верно? Вот вы и навели бы специалистов изучить это явление. Потому что так оставлять нельзя.

Прихрамывая, он отправился к продавцу наполнить стакан. Вернулся он со стаканом и круглым маленьким узколицым человеком, похожим на ежа, назвавшимся Сашей Дмитриевым. Пиджак на нем был с толстыми ватными плечами, короткий, давно вышедший из моды, однако неношенный, из синего бостона, прочнейшего материала.

– Хочу вас спросить, – без предисловий обратился ко мне этот еж, – будут у нас со временем памятник Достоевскому ставить?

– Возможно.

– Так. А тогда следующий вопрос: за что? В чем его заслуга? Он ведь что хотел, то и писал. Что ему, так сказать, муза диктовала.

– Не хотите, так и не ставьте, – уклонился я.

– Вот говорят, прославил наш город, а нам что с этого? Я понимаю – полководец Суворов или, например, Жуков. Отечество спасали. А ставят все больше писателям, художникам. За какие заслуги? Они ж в свое удовольствие работали. – Он вежливо подождал, не возражу ли я, затем победно продолжал: – Вы спросите, что же я предлагаю? А например, увековечить Василия Ивановича, который набережную благоустроил. Или, например, был у нас главврач, добился, чтобы больницу расширили. Инфаркт на этом схлопотал. Вот ему бюст и надо ставить. А если Достоевскому, так ведь это мы себя прославляем, а не его.

Он пыхтел совсем как еж, я вспомнил, как мы ловили их. За омутом, по дороге к заболотью, жили целые селения ежей.

Я спросил Петра Сергеевича, жил ли он до войны в Кислицах. Оказалось, жил.

– Значит, вы лесников сын? – сказал он недоверчиво. Отца он помнил, а меня не признавал.

– Как же так, Петька? – спросил я. Он был у нас старший, был строг, отчаян, учил нас ложиться под поезд. Обидно было, что меня он начисто забыл.

– Это что, у вас стекло зажигательное было? – спросил он.

– Нет, это у Шурки Конюхова.

– А у тебя чего было?

Я пожал плечами:

– Ничего.

– Вот видишь, – сказал он.

Шурка был сын садовника. Зажигательным стеклом мы на всех стенах выжигали похабщину. А у меня ничего не было, и запомнить меня было трудно.

– У вас там свои есть? – спросил он, так и не взяв в толк, зачем это я ездил в Кислицы. Он слушал меня с подозрением.

– А как мы под поезд ложились, – тормозил я его.

– Ну и что? – насторожился он. Глупую ту игру вспомнил он неохотно: – Безобразничали, потому что присмотру не было.

Про омут он ничего сказать не мог, в Кислицах он после войны не был ни разу. А чего туда ездить, все свои переселились, кто в Новгород, кто в Питер, а больше сюда, в Руссу. Кто в Кислицы вернулся, те к пятидесятым годам растеклись, разбежались.

– Чего я там не видел, – сказал Петр Сергеевич неприязненно.

– Все-таки родные места.

– Кому родные, а кому постылые. Я оттуда еле вырвался. Сколько водки спои, пока упросил. Лучшие годы там ухлопал. Кем? Бондарем. В городе я бы за это время ого... У меня ко всем наукам способности были. Да чего там говорить! – Он с отвращением посмотрел на чернильную жидкость в стакане.

– Брось ты, Петя, память надрывать, – сказал Дмитриев. – Им не понять. У них другое назначение. А нам, как поется, прошлого не жаль. Да и чего тебе жаловаться, дом у тебя дай боже, должность завидная.

– Должность... Она разве по человеку дается? А что?; я без должности? Есть у

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
меня своя пружина или нет – вот в чем проблема! Куда я направлен, я и сам не знаю. Чего я хочу? Мы здесь живем – ни город, ни деревня. В городе все нацелено на подъем личности. А у нас тут сад и куры...

Он говорил рассудительно, так же, как говорил о Достоевском, до чего-то допытываясь и куда-то выводя свою мысль. Никак не докопаться в нем было до того Петьки-хромого.

– Все же странно, – протянул я.

– Что странно?

– Многое. Например, что под поездом лежали.

– Не понимаю, чего тут такого. Хулиганство. Вспоминать совестно.

Я улыбнулся ему, но он никак не принял этой улыбки.

Затаясь, мы лежали в траве недалеко от семафора. Маневровый паровозик толкал состав, сортируя платформы. Подкатывался хвостовой вагон тамбуром вперед, и тут надо было выскочить на пути, залечь между рельсами. Медленно, громыхая сцепкой, вагоны прокатывались над головой. Самое страшное было, когда наезжал паровоз. Издали обдавало дымным жаром. Запахи масла, горячего железа, угля – все это охватывало, вжимало в землю, в липкие, пропитанные дегтем, креозотом шпалы.

Машинисты ругались, грозили высыпать горящий шлак из топки.

– Между прочим, и Коля Красоткин ложился под поезд, – сказал я, – помните, наверное, раз вы «Братьев Карамазовых» читали?

– Красоткин? Николай? – Он выпил и, морщась, подождал, прислушиваясь к себе. Лиловый туман заволок его взгляд. – Гимназист? А как же, его на «вы» называли. Их всех, мальчишек, на «вы» называли, уважение оказывали. А меня, между прочим, начальство тыкает до сих пор.

Дмитриев расхохотался.

– Это тебе расположение выказывают. Или уважение, или расположение. Выбирай. Я лично считаю, что тебе расположение выгоднее.

– Ты мою выгоду не подсчитывай. Уважение, оно от моих трудов, а не от ихних настроений. Оно положено. Оно на твоих хаханьках да анекдотах не вырастет. Человек первым делом должен себя уважать. К себе на «вы» обращаться. Тогда все и остальное... Ты погоди, я про этого Красоткина хочу. – Он пробивался ко мне сквозь туман. – Значит, он тоже под поезд? Как же так?.. А ведь точно, на спор лег. Вспоминаю. Лег этот Красоткин. Это же полное соответствие нашим безобразиям. Аттракцион. Каким образом такая стыковка получается? – Взгляд его, и лицо, и вся фигура застыли. – Сошлось, да?

Сошлось, да не совсем. По-видимому, такая игра в наших местах тянулась давно и дотянулась до нашего детства. Может, и на других полустанках и разъездах этой дороги играли в ту же игру, не знаю, но у нас точно, и любопытно, что первую заметку о новом романе Достоевский начинает так: «Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер». Слышал он об этом озорстве, будучи в Старой Руссе или в других местах? Линия железной дороги была та же самая.

Туман в глазах Петра Сергеевича загорелся тихим сиреневым огнем.

– Если Достоевский про спутники знал, так он и про наше ребячество мог, это ему семечки. А что, если он про нас написал? – Сказав это, Петр Сергеевич сам застыл на какое-то мгновение, округлив рот. – Нас имел в виду? Указывал? Николай Красоткин и есть Петр Хохряков. Понимаете, какая тут мертвая петля, а?

– Во дает! – с восторгом болельщика подхватил Дмитриев. – Куда завернул! В экспонаты! К нему экскурсантов водить будут. Красоткин!

Но Петр Сергеевич досадливо отмахнулся, спеша за своей новой идеей, она волновала его все сильнее, щербатый рот его дышал винно и жарко.

– Может, и я... А что, ведь как складывается – одно к одному. То-то я эту книгу угрыз! Чувствовал! А между прочим, на этого Красоткина большие надежды возлагал сам Алеша Карамазов. Он хоть и религиозный, но для того времени передовой человек. О чем свидетельствует, что он от этого Красоткина и его товарищей потребовал торжественное обещание. И не просто так, дисциплинка и отметки. Совсем другой подход. Вы, извиняюсь, как специалист, конечно, помните.

– Призывал их к доброте.

– Далеко не конкретно, – торжествуя сказал он. – Разрешите, я вам наизусть передам. – Он скромно поднял глаза к низкому дощатому потолку с голой лампочкой и заговорил нараспев: – «Всегда помните эту минуту, когда были такими чистыми, добрыми, любящими». Вот он к чему призывал ребяташек. – Петр Сергеевич притянул меня за плечо, наклонился. – Помните! Так? Вы думаете, помнили они?

– Не знаю, – сказал я.

– Позабыли! Я-то не помню. Как же так? Почему? Из ранней своей жизни я мало чего помню. То есть помню, но не вспоминаю. Не желаю. Должен был бы согласно Достоевскому. У меня ведь тоже была такая минута. Обязательно. Каждый в детские годы имел... Почему ж я не помню такого момента? – настойчиво допытывался он и вдруг замер, задумавшись.

– Головы наши заняты. Текучка. План, – бормотал Дмитриев. – Все через сознательность происходит.

Петр же Сергеевич молчал, прикрыв глаза, и глубокие морщины вокруг его рта стали еще жестче.

Я ждал. Что-то затронул он во мне своими словами, но ухватить неоконченную мысль я никак не мог. В последнюю минуту она выскальзывала, кружила, беря своей близостью.

Дмитриев что-то шептал ему. Петр Сергеевич лениво засмеялся, стал отходить от него, подмигивая не то мне, не то кому-то за моей спиной.

– Чего там отмечать... Какой из него мальчик! Да и ты... Все вы ничего не помните.

Потом слышно было, как он там, у прилавка, похохатывая, сообщил:

– Про меня, оказывается, это написано. Достоевский описал, как я под поезд ложился! – Чувствовалось, что он ерничает.

Сходство того Петьки с Петром Сергеевичем исчезло. Да и не хотелось их совмещать. А может, и мне нынешнему тоже лучше существовать отдельно от моего детства, юности, от военной моей жизни? Все это были словно бы другие люди, которые жили когда-то, и только узкие шаткие мостки памяти соединяли их.

Я-то думал, что мы обнимемся, станем припоминать всякую милую всячину: как ловили уклею, какой вкусный хлеб был и что лес стал не тот и снег не тот.

Маленький округлый Дмитриев подкатился ко мне, примиряюще взял под руку, разъяснил ситуацию. Нескладуха происходит оттого, что нечем отметить встречу, купить сейчас негде, вот Петя и злится. Пригласить к себе домой и не поставить как следует невозможно (о том, чтобы просто на чай пригласить, такое, конечно, в голову не приходило, и заикаться об этом было неприлично). Один шанс есть – попросить у буфетчицы бутылку белого. Но отношения тут сложные, им просить бесполезно, а вот мне, человеку приезжому, культурному, если под встречу с друзьями детства, она отпустит, ну, придется отблагодарить, как положено.

Так все и произошло, механизм сработал безупречно, разве что буфетчица несколько странно посмотрела на меня, не то с любопытством, не то со смешком.

Они нагнали меня на площади, сияющие, веселые. План у них был разработан, словно

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
ритуал. Распить без отсрочки, в саду, и скамейка была определенная, в кустах, и тут же появилась, словно скатерть-самобранка, газетка, на ней луковичка, сморщенный огурчик и стаканчик бумажный.

– Бормотуха и есть бормотуха, – приговаривал Дмитриев. – Бормочешь от нее что ни попадя. Нет от нее полета. Вот белое – оно ум возбуждает. А еще лучше сухое. Я у грузин на стройке привык, расчухал. Виноградность, если в нее впитаться, она веселит. Я думаю, что в старину русская медовуха тоже вверх по течению поднимала.

Восседая на скамейке, они оба преобразились. Стоило им сесть – и в них открылось домовитое веселье, появилась застольная учтивость.

– Вот ты считал, Петя, что вспомнить нечего, – мягко, со вкусом говорил Дмитриев. – А у меня, например, четыре почетных грамоты. Значок есть заслуженного строителя. Напоминание? Это тебе не полька-бабочка.

– Не уловил ты. – Петр Сергеевич вздохнул, покачал головой. – Как бы это выразить. Внутри, пока не говорю, все понятно, а передать – слов нет. – Он снял шляпу, обмахнулся ею. – Грамоту дают, понимаешь, за работу. Отмечают нас за хорошую работу. Это же другое дело. – Лицо его сморщилось, покраснело от напряжения. – Вот если бы мне отметили что-то такое... – Он рукой изобразил нечто облачное. – Душевное достижение! Допустим, у меня была такая минута. Найди ее теперь – была и сплыла, сбилась с памяти начисто. То есть я хочу выяснить – почему?

– Законно. Давай копай.

– А потому что никто мне не ответил! – В голосе его пропал хмель, он возвысился, чистый и звонкий. – Не надо мне награды. Мне показали бы, чтобы я глаза на эту минуту свою протер. Увидел бы ее. Чтобы ее в рамочку выделили, я бы ее повесил перед собою.

Мысль его была та самая, какую я искал.

– Точно! – Я даже взмахнул кулаком. – Абсолютно точно. Именно подчеркнуть необходимо в детстве, фиксировать.

Дмитриев был счастлив.

– Хорошо сидим! Петр Хохряков у нас талант! Будь у него время, он бы и книги писал не хуже лауреатов.

– А мне что в рамку выделяли? – не отвлекаясь, продолжал Петр Сергеевич. – Страхи! Вот помню, как тетку судили за опоздание. Как за драку на празднике наших парней забрали. Мне родители одну сторону подчеркивали – того нельзя, это плохо, за это ремнем. И в школе тоже. Хоть бы разочек кто поднял, показал – вот какую ты доброту совершил.

– Согласен. Душе тоже поощрения и грамоты нужны, – с грустью и в то же время с восхищением согласился Дмитриев. – От ласки человек не портится.

Но Петр Сергеевич сморщился, замотал головой.

– Опять ты, Сашка, вбок отклоняешься. Не прошу я благодарностей. Ты мне в детстве покажи, что запомнить в себе самом. Не чужого мальчонку ставь в пример, а меня, меня самого, понимаешь? А нас... да что нас, мы своих детей все так же страхом воспитываем.

Мы пили по очереди из бумажного стаканчика, занюхивали лучком, и трезвая отцовская печаль соединяла нас. Дмитриев пытался вспомнить что-либо выдающееся из своего детства. И все получалось либо драка, либо озорство.

– Отцы, – сказал я прочувствованно, – вот мы отцы, так? А в то же время мы сыновья. Сейчас у нас тот возраст наступает, когда оба эти чувства одинаково сильны... Но не в этом суть, – сказал я, чуть запутавшись. – Отцы наши мечтали про нас. И вот, допустим, твой отец увидел бы тебя сейчас. – Я повернулся к Дмитриеву. – Как бы он оценил тебя? Таким он хотел тебя видеть?

Острое лицо Дмитриева заиграло было ухмылочкой и тут же помрачнело.

– Подумаешь, – сказал он и сплюнул. – Не в дипломе дело... Слушай, брось ты мораль наводить, – беззлобно отклонил он разговор. – У детей своя жизнь, у нас, например, своя.

– Между прочим, никакого это касательства к нашему разговору не имеет, – строго поддержал его Петр Сергеевич.

Почувствовав что-то или из упрямства, я заладил свое:

– Весьма даже имеет. Мы со своих детей спрашиваем, и отцы с нас могут... Взять, к примеру, твоего отца.

Но тут щербатый рот Петра Сергеевича оскалился, глаза неприятно похолодели.

– А вы не берите его, вы своим папашей занимайтесь...

– Пе-еть! – предостерегающе сказал Дмитриев.

– Надоело! Чуть что – за отца хватаются. Надоели мне эти проверщики вот как!.. Я ответил сполна, на все анкеты, так нет... – Непонятная злость рвалась из него, кривила лицо. – С отца за сына так спросу нет, а вот сын за отца – это пожалуйста, сколько угодно. Нет уж, хватит...

Он передохнул. Дмитриев тотчас подsunул ему стаканчик, белое колечко луковицы, и Петр Сергеевич, по-лошадиному мотнув головой, выпил и с усилием, не сразу, раздвинул губы в улыбочке:

– А вообще-то, фактически говоря, папаша был бы доволен. Он не рассчитывал... – Петр Сергеевич усмехнулся, и улыбочка его очистилась, стала как бы естественной. – Советская власть, если так считать, по-божески ко мне отнеслась. Со всей заботой. А действительно: мне зерно доверяли распределять по трем районам. Дочь у меня как-никак историю партии преподает. Это заработать надо. Конечно, всякое было. Сейчас больше по справедливости пошло. Незаметно, незаметно, а если по годам сравнить, так справедливость прибывает. И это тоже вопрос. Справедливости больше, а людишки худо работают. Каждый свои права изучает. Взять дисциплину...

XV

В речи Алеши Карамазова были слова, на которые я раньше внимания не обращал, а теперь, после слов Петра Сергеевича, задумался над ними:

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть».

Он призывает мальчиков помнить вот эту минуту, когда они соединились в любви к Илюше, когда чувствовали себя хорошими. Потому что это воспоминание всегда будет помогать им, как бы жизнь ни ожесточила, ни озлобила их. Алеша Карамазов считает, что одно такое воспоминание может удержать человека от дурного.

При этом Алеша ничего не требует, ничего не проповедует, значит, и спорить в этом смысле с ним не о чем, высмеивать его уверенность – сколько угодно, занятие соблазнительное для некоторых умов и легкое, поскольку Алеша пользуется тут выражениями беззащитно-высокими, торжественными, умиленными, все так, но совершает он при всем при этом великое с точки зрения педагогики дело – он душевную, возвышенную эту минуту называет, очерчивает, выделяет, закрепляет в памяти, превращает для мальчиков в воспоминание. И не просто в воспоминание о чем-то приятном, а в нравственно сформулированное, определенное напоминание: вот каким ты был прекрасным...

– Не наворачиваешь ли ты тут? – Андриан подмигнул мне. – Совершил когда-то

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
хорошее, похвалили тебя, с тех пор и тешишь себя: ах какой я был замечательный!
И на этом основании все себе прощаешь.

Нет, не могло такое доброе воспоминание идти во вред, лучше было иметь его, чем перебирать в своем прошлом лишь запреты, стыд, раскаяние. То счастье и удовлетворение собой, о котором говорил Достоевский, оно обязывает душу. Оно возбуждает ощущение счастья от хорошего поступка во имя людей или отдельного человека, и это ощущение хочется повторить, оно придает силы, наполняет смыслом жизнь и именно обязывает душу.

Для меня, человека несведущего в педагогике, это было открытием. И я стал проверять его, прикладывая к своей жизни и к жизни близких людей.

..Оказалось, что Андриан Савельич знал Петра Сергеевича. В маленьком районном городке все так или иначе знают друг друга. По словам Андриана, эти Хохряков с Дмитриевым «выставили меня на пол-литра» – и вся игра. Дмитриев просто ханурик, а Хохряков хоть и «делаш» и трепач, но человек занятый, с фантазиями и зигзагами. Я спросил про его отца. Андриан вспомнил не сразу, но вспомнил, поскольку когда-то работал следователем, а Хохряков привлекался по одному делу.

– Подробности я позабыл, но существо в том, что отца Хохрякова выслали по кулацкой линии, а он с эшелона сбежал, в лесу прятался. Потом ночью пришел к своим, стал уговаривать, чтобы сын, Петька, значит, сообщил на него. Петьке дороги откроются. Будущее ему обеспечивал. Все равно, решил он, к зиме объявляться надо. Однако мать не позволила, сказала: не дам душу ребенка портить. Хохряков меня донимал насчет души, вот, значит, она в чести осталась, оправданно ли это и есть ли душа, если человек не признает ее?.. Погоди, так это ведь в твоих Кислицах было?

Но я ничего про это не знал. Может, это даже при мне было, таким же августом, ночью, в соседнем доме.

– Возились потом мы с ним, когда весной музыкальную школу затопило, – вспоминал Андриан. – Это он с ребятами самочинно унес инструменты и пианино к себе в контору, заставил всем этим кабинет начальника...

Я тонул. На берегу стоял отец, сухонький, жилистый, белотелый, и смеялся. Он уговаривал меня вместе прыгнуть с обрыва, а потом поднял меня и швырнул в омут. Я не ожидал такого предательства, я кричал, захлебывался, колотил руками, ногами и плакал. Обида и злость ошпарили меня.

Страх прочно отпечатал омут в моей памяти. Закрыв глаза, я могу рассматривать его. По нынешней, взрослой мерке обрыв невысок, это травянистый уступ, крутость, подмытая снизу, скрепленная корнями полегшей ивы. Сам омут тоже шириной три-четыре хороших гребка, река отдыхала в этой размоине, берега тут чуть расступились, особенно другой берег, низкий, глинистый.

Какой это был красивый округлый омут, в котором я тонул.

С конца июля, в межень, посреди омута возникали водовороты, появлялась вороночка, маленькая безобидная вдавлинка, она чуть двигалась, играла, вода вокруг нее была туго натянута. Зимой место это замерзло последним, покрывалось почему-то особо прозрачным льдом. Получалось ледяное окошко. Мы заглядывали туда, в подледную темь. Солнечными днями туда подплывали рыбины, спины их тускло проблескивали за толщей льда. Крики и наши постукивания не пугали рыб, они толпились, поглядывая на нас, может, думая, что у нас лето. Около омута был пляжик, песчаный сход, который мелко тянулся под воду. На этой шершавой мелкоте отец меня учил плавать долго и без успеха. Сам он плавал хорошо – саженьками, лягушкой, обгоняя молодых. Речка была узкая, плыли они против течения далеко, до мельничной запруды.

..Я тонул. Я чувствовал, что отец не двинется с места. Все на берегу смеялись, наверное, я был нелеп с выпученными от ужаса глазами, отчаянно бьющий руками по воде. Если бы я действительно тонул, меня сразу бы вытащили, поэтому-то мой ужас и был смешон. А я ничего не сообщал, я ненавидел их всех и больше всего отца, и бил по воде, задыхаясь, теряя голос. И тут вдруг я почувствовал, что плыву. Ощущение это было незнакомо, но я понял, что не касаюсь дна. Я плыву, плыву!

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Вода не тянула меня в свою коричневую глубину, а держала, поддерживала меня снизу, как до этого широкая отцовская ладонь.

Тело осознало это раньше разума, плавучесть появилась как бы толчком, вошла раз и навсегда, я ощутил ее как новое свое умение, даже не умение, а качество, неотъемлемое, как способность ходить. Потом годами я учился плавать стильно, на время, изучал в бассейне разные тонкости, но плавучесть, она пришла тогда, плотное тело воды стало дружеским и больше не внушало страха.

Когда я вылез, отец подхватил меня, всхлипывающего, на руки, прижал и сказал: «Молодец, теперь поплывешь». Руки его дрожали, он продолжал смеяться. Я понял, что смеялся он не надо мною, а от радости, он раньше меня увидел, что я плыву. Если б не это, не веснушчатые дрожащие его руки, то ненависть, гнев, отвращение к предательству остались бы во мне травмой, и как знать, что вырастает из детских ран.

«Ничем я тебе больше не могу помочь, сынок», – сказал он. На самом деле он сказал это через несколько лет по другому поводу, но почему-то потом все это слилось, соединилось в тот день.

С тех пор, заплывая далеко в море, даже в волну, я не боялся воды. Любовь к плаванию выручила меня в войну на Лужской переправе, когда пришлось всю ночь провести в воде. Могли ранить, убить, но утонуть я не мог. Что-то отцовское было для меня в воде, в самые трудные минуты вода напоминала об этом словно отцовским прикосновением.

И помнится все это прежде всего потому, что отец определил этот момент моей жизни.

Почему он в других случаях не делал этого? Никто не учит родителей, как «работать» родителями. Самая ответственная из всех работ, а делает кто как может, руководствуясь лишь опасными советами любви.

Я, как Петр Сергеевич, вспоминал и не мог вспомнить взрослых, которые остановили бы меня и сказали: запомни, вот как хорошо ты сделал, какой ты был добрый и честный.

То, что было на омуте, никак не причислишь к таким нравственным воспоминаниям. Нет тут проявления моей доброты, любви. Действие это было практическое, и отец учил меня чисто деловому, нужному для жизни, как учат все отцы.

Однако в этом воспоминании есть какое-то тепло, нужное для души. Возможно, оттого, что я сумел сам увидеть отцовскую любовь к себе, которую он никогда не высказывал вслух. А может, тут совсем другое...

С годами из чужих случайных рассказов я узнавал об отце самое разное. Он представлял не только работающим и добрым, но и беспутным и шальным. Оказывается, был он и картежником, азартно резался в карты, гулял; потом вдруг развелся с первой женой, оставил ей все, а сам поехал за девушкой, в которую влюбился, повенчался с ней и увез ее с собою в лесничество. Был он в летах, а мать моя была девчонка, а оставлял он налаженную семью с детьми, в те времена все это было куда как не просто. Подробностей этой предыстории теперь уже не раскопать, иногда из обрывков полузабытых рассказов я складываю картины, домысливая первые, медовые месяцы их новой жизни. Мать – тоненькая горожанка, модница, певунья, и отец – на двадцать лет старше ее, кряжистый, медвежастый, какое-то лесничество под Кингисеппом, покинутая помещичья усадьба, где они обосновались, дальние лесные дачи, банды зеленых, пожары, напуганные буржуи, которых привозили на заготовки дров для Питера, сплошной лесоповал для железных дорог, митинги, неразбериха лесного хозяйства тех лет, когда одни требовали национализации, другие – отдать леса народу, то бишь местному населению, самовольные порубки, начальники уездные, питерские, комбедовские, армейские; и они двое – молодожены, влюбленные, то верхами, то на санях по пустынным дорогам, вскачь...

Это все до меня, в ту непостижимую пору, когда меня еще не было, диковинная пора, чудн#225;я, вроде бы совсем чужая мне...

Мы никогда не ведаем, от какой любви мы рождаемся, какие слова, надежды витали над нашим зачатием.

Одна старая акушерка говорила мне, что почти всегда можно отличить младенца, рожденного по любви, от младенца нежеланного или зачатого случайно. Если человечество до сих пор развивается, творит, становится все же умнее, милосерднее, то это лишь за счет детей, рожденных по любви. Их большинство. Любовь, прежде всего любовь улучшает человеческий род.

XVI

Если бы не река, то заречная часть города выглядела бы заброшенной, печальной пустошью. Река придавала смысл этому пейзажу, она вселяла в него жизнь.

Река лежала как украшение города, свободно и даже горделиво, словно сознавая, что ею-то и создавалась физиономия Руссы. Небо погасло, одна река не спала, малейшее движение, рыбий всплеск – на все она чутко отзывалась. От полированной ее глади шел свет, не сильный, но единственный, уходящий далеко в поля по всей вихлявой речной длине.

Перед мостом река изгибалась, лениво-чувственно обнимая город; в сущности, этим изгибом, этим скрещением притоков, впадений и определялось, наверное, местоположение города. Сколько раз дымилось здесь пепелище, появлялись руины. Сколько раз город мог исчезнуть, как исчезали другие порушенные города, но река заставляла город возрождаться на этом единственном месте, обозначенном сплетением вод.

Мне всегда казалось, что именно река возвращает этот город, она играла с ним, ластилась к новым его набережным, а иногда вдруг злилась, затопляла его, разливалась по улицам.

Туловище реки уходило в глубины земли, связанные с подземными озерами, соляными источниками, слепые корни реки расходились далеко по всей округе.

Река мало менялась. Она надежно хранила воспоминание о том, как на самодельных плоскодонках мы плыли до Взвада. Река сберегала и берега, и цвет, и запахи. То желтая, то бурая, она ширилась, становилась теплой, легкой. Обрывистые берега были приятно безлюдны. Над одичалой некошеной травой носились ласточки, порхали огромные бабочки.

Взвад издавна был деревней рыбаков. Когда мы с отцом заезжали сюда, здесь было сытно, домовито, а ныне стало и вовсе богато. Я ходил по Взваду, сравнивал его с Кислицами. Что значит неродное – чужая эта новизна не вызвала особых размышлений. Так и положено было: строиться, богатеть, ставить каменные дома, крытые бетонно-серым шифером.

Мы плыли и плыли по реке до старой насыпи, до островов, до утиных гнездовий. Река была отдельной страной, со своим населением: бакенщиками, инспекторами рыбнадзора, рыбаками. Люди на реке узнавали друг друга издали. Они отличались неторопливостью. Речные люди были мыслителями, наблюдателями. Даже Евгений Калистратов, давний мой приятель, человек кипучий, быстрый, на реке мечтательно стихал, задумывался, его тянуло на лирику и историю.

Каждый вечер он гулял по набережной со своей знаменитой охотничьей собакой, и я впадал в их прогулку. От всех известных мне людей Калистратов отличался талантом восхищения. Чем больше он жил, тем больше ценил красоту окружающего мира – перелеты птиц, осенний листопад, какую-нибудь козявку, песчаный откос, закаты, своих учеников, новую дорогу... Окна его дома выходили на реку, и он не уставал каждодневно восторгаться ею.

– Смотри, смотри, – призывал он, – только посмотри на эти лодки!

Лодки лежали на розовом теле реки вдоль берега как ожерелье. Поля терялись в сумерках, густеющих по краям, и только река блестела прозрачно и сильно.

В присутствии Калистратова все как-то усиливалось – и вкус огурцов, и высота звезд, и люди виделись интереснее. Рыбы, которых мы с ним вылавливали, были всегда самые большие и самые вкусные. ПТУ, которым он руководил, было самым трудным и самым замечательным из всех училищ страны.

– Помнишь Бутыкина? – спросил Калистратов. – Здесь мы с ним распрощались.

Я вспомнил Бутыкина, директора МТС, маленького, с железными пальцами, которыми он отвинчивал гайки и вдавливал в доску гвозди. Рядом жила Лида, у нее были рыжие косы; когда она распускала их, рыжий золотистый плащ закрывал ее до колен, матово-белое лицо ее выглядывало, мерцая глазами, узкими как ивовый лист. Это не из прозы, а из стихов, бесконечных плохих стихов, которые я слагал о ней.

Много умерших моих друзей живет со мною. Некоторые навещают меня, вдруг появляются со своими словечками, привычками, что-то подсказывают. Других навещаю я сам. Подхожу к их домам, к тем перекресткам, где мы встречались. Они стоят там, поджидая меня годами. Вот сейчас лето, а мы с Лидой идем заснеженные, на бровях снег, изо рта пар, хохочем, к кому-то забегаем. С ними со всеми, и с Бутыкиным, и с Юрой Константиновым, я молодею. Среди них нет подлецов. Подлецы умерли. А эти живы. Все хорошие, честные – живы. Чем лучше они, тем чаще мы встречаемся.

На набережной выросли дома, какие стоят по всей стране, – с паровым отоплением, большими окнами, в которых голубым светом горели телевизоры. Во дворах цвели клумбы и стояли качели. Все было как везде, и только река связывала, соединяла эту часть города со Старой Руссой, река была единственной в мире, неповторимой, как лицо человека.

Под тенью акации на скамейке сидел Андриан, поджидал меня. Я опустил рядом, вытянул ноги. В акации верещали воробьи. Сотни их слетались сюда каждый вечер и примерно с полчаса неистово вопили, обсуждая итоги дня. Затем разлетались, и акация стояла тихая, пустая, и долго еще темно-зеленые ее ветки дрожали в полном безветрии. Чего не хватало в городе, так это живности – шипения гусей, криканья уток, цоканья копыт, всех звуков живого. До войны даже на новгородских улицах ходили козы, а в Руссе и тем более.

Андриан уверял меня, что вскоре в малых городах заведут животных. Люди понимают, что животные нужны человеку не только для еды – они помогают человеку быть человеком.

Зимой будут прибегать в городской парк к кормушкам зайцы, лоси, лисицы, весной на реке под мостом будут отдыхать дикие утки, по городу будут расхаживать журавли, ежи, барсуки, дикие козы.

Маленькие города ближе к природе, в них много неба, земли, в них камень не удручает, а радует. Они уютны, они соразмерны человеку. Такой город можно обойти ногами, добраться пешком в любой конец, в нем не испытываешь чувства ничтожности, заброшенности, которое появляется у человека среди бесчисленной толпы, текущей между железобетонных громад, уходящих вверх и вдаль.

Слушая его, я думал о том, что в маленьком городе легче быть философом. Наверное, и легче стать. Меньше всякого рода искушений, отвлечений. Мысли в голове, они заводятся от скуки, как говорил Андриан.

Мемориал Достоевского – это всего лишь несколько улочек и переулков, это участок с квадратный километр, окруженный быстро растущим городом с современными, известными в стране заводами, с новыми благоустроенными корпусами курорта. Это город со всеми его благами – с канализацией, водопроводом, газом, паровым отоплением. От сонного захолустья почти ничего не осталось, да и мемориал тоже, если судить строго, не схож с тем, что было при Достоевском.

Но прошлое хоть как-то можно здесь представить. Хотя бы довоенное, знакомое мне; оно еле слышной мелодией возникало в этих проулках.

...Каждый вечер с курорта неслась музыка. Приезжал оркестр Ленинградской филармонии, и летние вечера были пронизаны музыкой. Русса разделилась на курорт и город. Курорт – это был парк, неторопливое кружение взрослых, шум фонтанов, купальни, а город – это рыночная площадь, базар, стук пролетов, редкие автомобили...

Центр – это каменные дома, а подалее, к Ильинской улице, двухэтажные деревянные. Но не деревенские, нет, это дома-дачи с парадными, башенками, балкончиками, изукрашенные, в тени деревьев, обязательно с садом, а в саду беседка.

Во времена нэпа открылись рестораны, знаменитый тогда ресторан «Вена» с цыганами, множество лавочек, магазинчиков, лотков, павильонов, а Андриан тогда вместе с Георгием Ивановичем бегали в школу до поздней осени босиком. В тридцатые годы заработал как следует литейно-механический завод в центре города, куда поступил отец Андриана.

Были бандиты-гастролеры из Ленинграда, и был их гроза – знаменитый на весь город милиционер Козловский.

А в домах были залы, крашенные дощатые полы, устланные тканями полосатыми половиками. Варили варенье в медных тазах, мололи ячменный кофе, зачитывались Пантелеймоном Романовым, Малашкиным, Мариенгофом. Пели граммофоны: Изабелла Юрьева, Козин, молодой Утесов. На вечеринках еще распевали «Кирпичики», «У самовара», «Караван», на демонстрациях пели «Все выше», «Смело, товарищи...», в клубе приезжие ленинградцы показывали модные танцы: вальс-бостон, румбу. Пионеры шагали по главным улицам под барабан, красный галстук был нашей заветной мечтой, а комсомольцы в юнгштурмовках, с ремнем через плечо казались недостижимо прекрасными. К дальним улицам тянули электроосвещение, стояли очереди за керосином, за калошами, за мылом.

Выносили на чердаки и в чуланы комплекты старых журналов, собрания сочинений Мельникова-Печерского, Шелера-Михайлова, Загоскина, которые почему-то были чуть ли не во всех домах.

Приемники были редкостью, телефоны стояли только в учреждениях, в кино ходили нечасто. Что же делали по вечерам? Теперь это непонятно...

У гостиного двора Георгий Иванович, тогда мальчонка, торговал пирожками.

Среда, пятница, воскресенье – базарные дни. На площади визжат, орут поросята, кудахчут куры, всякая птица, тут же телеги с мешками, возы с сеном, гончары со своими горшками, всякие разносолы, живая рыба. А рядом шелковые ряды, ювелирные магазины с зеркальными витринами, электрические лампы – роскошь того времени. Нищие, юродивые, беспризорники, богомолки-кликуши.

А за мостом райком комсомола, где Саша Сафонов вручал комсомольские билеты Андриану, а затем и Георгию Ивановичу Смирнову.

А напротив большой дом, где жил известный врач Дементьев, с белой вывеской на парадной. Особенно же чтили врача М. Глинку, маленького старичка с бородкой; когда он шел по улице, с ним раскланивались все...

– Вот это осталось до сих пор: здесь тебя знают все и ты всех, – сказал Андриан. – У вас там в Москве, в Ленинграде ты никого не знаешь на своей улице. И нет такого понятия – «с нашей улицы». Нет понятия «соседи». А у нас это сохраняется. Соседи, чистый воздух, тишина...

И он принялся описывать со вкусом и с вызовом преимущества провинциальной жизни, лишенной суеты, внимательной к движению времени и истории, чувствующей свою связь с прошлым. Ему, Андриану, ничего не стоило восстановить, например, свою связь с Федором Михайловичем Достоевским: его знакомый Иван Павлович Чикин, директор первого старорусского рабфака, старейший деятель народного образования, работал когда-то вместе с Марком Ивановичем Полянским, автором упомянутой книги о Старой Руссе, а М. И. Полянский молодым бывал в доме Достоевских, беседовал с Федором Михайловичем и впоследствии неоднократно виделся с Анной Григорьевной во времена приездов ее в Старую Руссу.

Война, казалось бы, уничтожила город начисто. Но стоило городу возродиться – и слои его истории начали отстаиваться, обозначаться. В больших городах история упрятана в музеи, отделена, выгорожена. Здесь же она – под фундаментом дома, в огородной земле, она всюду. Вся земля этого древнейшего русского города сложена из праха мостовых, домов, печей, погребов, она хранит берестяные грамоты,

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
обломки мечей и горшков, стекла и камня, обрывки кож и знамен, останки
особняков, соборов, кузниц, дозорных башен, шлагбаумов, солеварен, острогов,
аракчеевских казарм.

XVII

Как быстро и прочно стирается жизнь целых поколений. А уж что и говорить про отдельного человека. Через десять, двадцать лет не узнать: какой он был, чем он жил? В чем же смысл этой жизни, если забвение смыкается над ушедшим, как вода? В чем был смысл всех хлопот отца насчет леса, его забот, его лесного отшельничества, его беспорядочной доброты?

Была ли у отца какая-то своя философия жизни? О чем думал он долгими одинокими вечерами, когда жил без нас? Сохранилось только несколько его писем тех лет. Скучал, беспокоился, справлялся... И мать, и мы тоже скучали по нему, но в Ленинграде все это скрадывалось, заглушалось городским шумом... А там, в тишине сугробов, вокруг чего витала его мысль? Я пытался вообразить – и не мог. Конечно, я знаю, что философия жизни занимает далеко не всех, но отец, вполне возможно, задумывался – во имя чего, зачем он живет, какова цель его стремлений и хлопот, что он оставит после себя?

Это были вековые, старомодные вопросы, и Андриан имел право высмеять меня, тем не менее он ответил сразу, словно заранее приготовился:

– Лес – вполне достойный смысл его жизни. Лес – это тебе не книжка.

– Но того леса нет, те леса давно порубили.

– Лес тот же самый. Откуда ж он взялся? Тот же биоценоз. Слышал? Чтобы лес на новом месте принялся, надо лет пятьсот. Так что лес хранителей своих долго помнит. Лес – вот его заказник!

– Заказник, заповедник, мемориал, – сказал я.

– Заповедник – заповедь... Сколько тебе известно заповедей?

– Чти отца и мать свою..

Слабые, робкие попытки отца приохотить меня к лесному делу... В то время модны были другие специальности, я перебирал самые, как мне казалось, нужные, перспективные: электротехника, автоматизация, гидростанции. Нас пленяли цифры, размах, термины: верхний бьеф, пиковые нагрузки, кавитация, разрывная мощность, сети и системы. Двести двадцать тысяч, пятьсот тысяч вольт! А мощности генераторов, а размеры турбин! Нам предстояло затопить сотни, тысячи квадратных километров земли под водохранилища, затопить деревни, леса, поселки, перенести их на новые места, мы меняли лик Земли, мы создавали моря, перегораживали реки тысячами, сотнями тысяч кубометров бетона. Готовы были расчистить просеки на сотни километров для линий передачи. Ажурные высоковольтные опоры казались нам красивей, чем сосны и березы. Рассчитывать опоры было сложно – анкерные опоры, несущие, переходные; деревья же были просты, однообразны и ничего не стоили. Реки надо было – покорить, обуздать, усмирить, запрячь. У реки, у леса был один-единственный смысл: служить человеку. Ни о каком другом смысле мы не догадывались, в расчет не брали. И наш седоголовый высокообразованный профессор, красавец и меломан, учил нас не принимать в расчет всю эту бесплатную природу, учитывать надо было лишь весенние паводки, всякие козни стихии. Мы, инженеры, – благодетели человечества, наше дело осветить мир, обеспечить его энергией. И мы это совершили, взрывая и кроша, превращая реки в тихие ленивые запруды. Иначе было нельзя. Неправильно было только то, что мы ничего не жалели... Печально, что никакого другого смысла не имел для нас лес, разве мог у него быть свой смысл, своя цель?

– У природы нет цели, она, подобно искусству, отличается целесообразностью без цели, – сказал Андриан. – Но неужели тебе не приходило в голову, что природа существует не для человека, что она сама создала человека?

Нынче ему все было ясно, а где он был тогда?

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
– Для чего ж она создала человека?

Андриан сладко потянулся, зевнул и отвечал, не задумываясь:

– Одно из трех: либо для того, чтобы увидеть себя через человека, сознание для природы – как зеркало, она с помощью человека любит свою красоту и гармонию, слушает себе гимны, наслаждается своим совершенством, изучает свои законы; либо второе – природа создала человека, чтобы остановить эволюцию: все, вершина, дальше идти некуда, человек – конец, всему делу венец; либо еще один вариант: сознание – это дряхлость природы, ее болезнь, может, способ самоубийства.

Больше всего он любил отвечать на вечные вопросы, всегда мучившие человечество. Откровения его проигрывали оттого, что он, стесняясь, произносил их небрежно, как давно известное, само собой разумеющееся. Когда-то он был большим деятелем. Карьера его шла быстро, он бежал вверх через ступеньку. А потом вдруг взял и ушел. Никто не знал, в чем дело. Говорили, что ушел сам, по своей воле, но это-то и вызывало удивление. Сам он объяснял туманно, выходило, что начальник его не терпел умников. У Андриана, конечно, хватало ума прикидываться бурбоном. Но, спрашивается, какой же толк в уме, если скрывать его? То он говорил, что карьера мешает размышлять, то, наконец, всерьез доказывал, что все дело в том, что он не умеет говорить по бумажке. Лицо его оставалось скорбным, а голубенькие глазки веселились.

– Послушай, а что ты хотел от своих кислиц? – спросил Андриан.

– Хотел понять, как это все было.

– А ты сочиняй. Когда много знаешь, трудно сочинять.

– Послушай, ты, наверное, очень одинок, – сказал я, – ты такой умник.

– Что делать, – сказал Андриан. – Канту тоже было тоскливо. – Он задумался и вдруг спросил, подобрев: – Ты хочешь, чтобы все было как было?

Оказывается, все это очень просто делается, стоит попросить этого пожилого волшебника – и он по старой дружбе вернет в Кислицы дощатый перрон, чайную, визг пилы на лесопилке...

Хотел ли я этого?

Мир стал податлив, пластилиново-мягок. Можно было оживить старые фотографии. Можно было все вернуть. Бондарную мастерскую, горы клепки, вернуть старорусский базар с телегами, полными мелких сочных яблок – чулановки, табуны лошадей... И старую улицу Пестеля? Но зачем же я после войны прокладывал по этой улице кабели, ставил трансформаторы, зачем мы строили подстанции, давали мощности? Мы ведь хотели перестроить дома, осветить переулки, дворы, соорудить лифты, преобразить жизнь людей, чтобы хватило всем энергии, света, тепла, газа, чтобы без всяких лимитов, воровства, ограничений. И все же я любил старую улицу Пестеля. В ней была своя душевность.

– Вот машина времени. Садись, – сказал Андриан. – Куда поедем? В какой год?

На шкале были помечены: 1800-й, 1825-й, 1837-й, 1890-й, 1914-й, 1917-й, 1929-й, 1940-й... А можно было и за красную черту, в 1985-й, 2000-й...

– Большинство пассажиров любят прошвырнуться в прошлое, – сказал Андриан. – Непонятный феномен. Особенно стремятся во времена Пушкина. Спросом пользуется также конец прошлого века.

Ночь жгуче почернела. Это была вспышка темноты. Все налилось кромешной тьмой, и оттуда, из теплой бездны, дохнуло приятным детским страхом. Там бесшумно скользили мохнатые хищники, кто-то притаился в засаде. В высокой траве за углом замерли приключения. Звезды приблизились, налитые спелым светом. Акация стала огромным деревом, на нее хотелось залезть, прыгать вниз, раскачиваться на скрученных ветвях, заглядывать в окна. Можно было свистеть, вопить во всю

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
глотку, какое чудо была эта ночь, запахи трав, земли, тепло Андрианова плеча. А еще бóльшим чудом было, что я жив, до сих пор жив. Столько пуль летело в меня, столько снарядов. А сколько раз я болел и сколько смертельных недугов и разных вирусов подстерегало мои почки, кости, сосуды, ткани, все эти сложнейшие системы нейронов, гормонов, нервных импульсов, кроветворных органов. Разве не чудо, что сердце мое бьется, легкие расширяются? Я шевелил пальцами, чувствуя послушность каждой мышцы, вытягивая шею, я водил глазами, я облизывал губы, ощущая их вкус, от всего этого можно было получать наслаждение.

Я любовался мгновением. Оно, как драгоценность, сверкало отшлифованными гранями, переливалось алмазной чистотой.

Андриан сидел все в той же позе, как будто ничего не произошло. Детство не интересовало его. Там нечему было научиться, оно не содержало никакой информации. Детство – малограмотная пора, когда человек лишь учится мыслить и понимать, период подготовки. Андриан не признавал мудрости детства, способности чувствовать такое, что утрачено нами, чего никакие знания не могут возместить.

Детство вернулось на миг и погасло.

Но кое-что я успел увидеть в этой вспышке.

– Ты знаешь, отец оставил на земле не лес, а меня, – сказал я. – Лес – это в общем, поскольку от каждого остается его труд. А вот меня он действительно оставил после себя.

То, что родители продолжают в детях, в этом тоже не было никакого открытия, другое тут поразило меня – ощутимость этого родительского пребывания в нас.

Мне вспомнилось четверостишие Вознесенского:

С иными мирами связывая,
глядят глазами отцов
дети –
широкоглазые
перископы мертвецов.

Отец моими глазами рассматривал свои леса, реку, этот город. А я как бы его зрением видел Кислицы, новый леспромхоз, молодые березы. Поехал сюда я не только по любви к этому краю, но и уступая тем отцовским просьбам, которые я ощущал. Отец жил во мне. И интерес к прошлому вызвался, вероятно, им, его присутствием внутри меня, он продолжал существовать, и сказывалось это в необъяснимых наплывах тоски, в снах, а то и в запоздалом стыде.

По разным поводам он пытался напомнить о себе, но как-то не захотелось прислушиваться к этим сигналам души. Это было не так трудно. Они гасли, не находя ответа. Думалось, что так и надо, что сила воли в том, чтобы не поддаваться ненужным томлениям, не обращать внимания на душевные тревоги. Андриан считал, что это полезно для душевного здоровья. Лучше, когда ничто неразумное не вмешивается в нашу жизнь. Не появляется непрошенная тоска, скука. Разве нормально, когда без видимой причины в разгар успеха, почета все вдруг опостылеет, потеряет цену?

Дорогой ты мой философ, а что если это твое «душевное здоровье», душевная неуязвимость, – отсутствие души, атрофия ее?

– Что значит: отец оставил на земле тебя? – спросил Андриан. – Какой смысл стоит за этим? Ты же не занимаешься делами отца, не отвечаешь за него. Отец за сына отвечает. Он обязан сделать сына порядочным человеком, трудовым, добрым. Это ответственность. А у сына есть перед отцом долг. Ясно? Как, например, у Гамлета. Долг помогать, не уронить имени, соблюдать честь.

Петр Сергеевич тоже говорил, что сын за отца не отвечает. Так ли это? А если ответственность эта не перед другими, а перед собой?

Я попробовал представить себе, что останется у детей и внуков от моего мира.

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Многое исчезнет навсегда. Вот они встретятся с внуками Калистратова и понятия не будут иметь, что деды их дружили, вместе охотились, рыбачили. Они будут стоять на этом берегу и знать не будут, что когда-то мы сидели здесь с Андрианом и говорили о них. А может, и отец мой сидел здесь с отцом того же Дмитриева.

– Странный вопрос пришел мне в голову, Андриан. Почему Достоевский назвал старого Карамазова Федором? Этого сластолюбца, распутника, мерзавца?

– Как-то не обращал на это внимания, – сказал Андриан. – Может, случайность?

– Наделить своим собственным именем подлеца – какая ж тут случайность? Любой человек охраняет свое имя от всего плохого. Представь себе, что ты описываешь некоего Андриана и представляешь его обжорой, болтуном, всезнайкой, рассказываешь, как он по любому поводу поучает, какое у него темное прошлое, какой он лентяй...

– Хватит, – сказал Андриан. – Невозможно представить. Все вышло бы фальшиво, надуманно. Если по Фрейду... нет, все равно...

Впервые он не нашелся с ответом.

А вот Георгий Иванович, тот ухватился за этот вопрос со всем пылом и стал предлагать разные варианты, пока не утвердился на том, что имя свое Достоевский отдал Карамазову умышленно, в этом, если угодно, подвиг писателя, который принял вину за грехи отца своего на себя. И все это Георгий Иванович увязал с идеями философа Федорова, которым Достоевский в те времена увлекался. Принять вину отца на себя, на свое имя – для этого Федор Михайлович и поселил Федора Павловича Карамазова в свой старорусский дом.

– И это тоже не случайно, ничего случайного у Достоевского нет, – настаивал Георгий Иванович. – Всем чем мог хотел взять на себя вины отца. Совесть его особо чувствительна, недаром Горький называл его нашей большой совестью.

– Значит, Достоевский чувствовал ответственность за отца?

– Еще как! Удивительного устройства была его душа!

Андриан слушал нас хмуро, потом сказал:

– Неужели лет через тридцать дети будут тоже вот так разглядывать... наши жизни? Выяснять всякие обстоятельства... Не нравится мне это. Судить нас они не имеют права!

– Ты же судишь, – сказал я.

Он разом насупился, потяжелел, зло засопел.

– Кого это я сужу? – И изготовился, как перед прыжком.

Я не ответил.

– Что ты знаешь? Чего ты суешься? Эта паршивая привычка копать. Мне, может, родители всю жизнь сбили, – он повернулся к Георгию Ивановичу, – я ведь хотел быть гуманитарием, на философский хотел, а они навалились: нужна профессия, нужна специальность! Ну что они понимали? Отцу лишь бы план гнать. Все на штурм! Вперед! Аврал! Для него человек – кто перевыполняет. А все антимионии он презирал. Он все это вытоптал во мне, высмеял. Перед всеми задразнил. Философ! Философия, говорил он, для бездельников, для захребетников. Выпьет и кричит, бывало, на всю улицу: вырастил, мол, паразита...

Пальцы его сжались в кулак. Прищурясь, он смотрел через меня насквозь, в те ненавистные дали, где ломалась его юность, где был самодур отец, который запустил его в постылый этот плано-экономический техникум как в машину, которая покатила, понесла...

– Лучшие годы ухлопал впустую, – сказал Андриан. – А ты будешь тут меня уличать!

– Не знаю, ох не знаю, – сказал я. – Родители, они тоже кое-что понимали. Разве

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
мы ничего не понимаем, когда сейчас советуем своим детям?

– Тьфу, противно, как ты все переворачиваешь! – возмутился Андриан и ушел.

Отец и сын переливались в нем, сразу меняя все мировидение, два эти состояния не умели сосуществовать, одно начисто исключало другое. Сам Андриан не замечал этого, не слышал, как тут же, переходя от отца к сыну, он говорил совершенно обратное, противореча себе.

Да, и мы были немногим лучше. Мы все начинаем понимать обиды наших родителей, ценить их терпение, вспоминать их бессловесное ожидание, когда сами становимся отцами. Проходя путь отцовства, мы замечаем следы и знаки, когда-то оставленные на этой дороге нашими отцами и дедами. К концу пути следов все больше... Родителей нет, и когда ничего уже нельзя исправить, мы начинаем понимать их. Зачем же нужна столь поздняя наука? Ее некому передать, раскаяние не в силах ничего изменить...

Таков закон природы, доказывал Андриан, закон мудрый, как все, что устроила природа. Но так ли она мудра, природа? И так ли она совершенна? Вот это позднее чувство к своим ушедшим родителям, когда они становятся нам ближе и понятней, чем наши взрослые дети, когда мы проходим, проживаем год за годом их чувства к нам, – было это предусмотрено природой?

Андриан прохаживался у гостиницы, поджидая меня. Он не извинился. Он никогда не извинялся, ибо считал, что нас ничто не может поссорить.

– Знаешь, я вспомнил, как мать отговаривала меня. Совсем иначе, чем отец. Она боялась. Истории боялась. И философии. Ей казалось, что все это опасно. А объяснять мне она, наверное, не хотела. По-моему, она остерегалась заронить в мою душу сомнения. Интересно, как это было на самом деле? Да разве узнаешь...

– А может, и отец твой того же боялся? Может, они с матерью советовались между собой и все думали, как бы тебе сказать половчее, как бы на тебя подействовать? Может, отец стеснялся признаться в своих страхах, поэтому кричал, грозился?

– Может, может... – передразнил Андриан, но как-то неуверенно, удивленно, ожидая, не продолжу ли я.

И я продолжал, не жалея его, потому что кроме него я имел в виду и самого себя.

Выкроив несколько отгульных дней, отец приезжал в город повидать нас. Поезд приходил рано, отец поднимался по лестнице, стучал в стенку. Он тащил на спине мешок, в руках корзины, бог знает какую тяжесть – бруснику, грибы, творог, деревянные миски, яблоки, ржаные кокорки. Долго сидел, не раздеваясь, потный, было жалко его, гостиницы казались ненужными.

Сколько упрашивали его переехать в город, он так и не мог решиться, уверял, что без леса ему нельзя.

Была тетя Даша, жесткая и резкая старуха, которая сажала меня с собою у печки и внушала, помахивая кочергой:

– Ты отца не мучай, ты расти пряменько, шагай в ногу со своими товарищами и не оглядывайся. Считай, что у тебя отец отсталый.

Отсталость родителей успокаивала и вроде бы все объясняла. И отцу тетя Даша говорила:

– Ты детям расти не мешай. У них своя жизнь. Не путай их своим дегтем и шишками.

Зеленые купы ив закрывали улицу, из окна дома Достоевского был виден чисто подметенный пустой дворик музея, заросший сад. Из окна все выглядело как когда-то, и все двигалось, было живым. Когда-нибудь люди смогут попасть в свое детство, возвращаться туда хоть ненадолго, хоть на несколько часов, чтобы у

Обратный билет. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru каждого детства был свой мемориал, где бы все было как было. Те же деревья, те же дома, речка, те же запахи трав, те же книги на полке. Среди старых изданий «Братьев Карамазовых» я нашел у Георгия Ивановича затрепанный томик с иллюстрациями. Последняя картинка изображала Алешу Карамазова, окруженного мальчишками. Алеша стоял на камне и держал речь. Нарисован он был безлико, иконописным монашком. Впереди стоял Коля Красоткин, этот сразу напомнил мне Петра Сергеевича. Не похож был, но все равно напомнил. Один из мальчиков, с краю, тот похож был на моего отца, была в доме когда-то такая фотография – молоденький отец в форменной фуражке набекрень, курчавый, круглолицый. Старинная фотография на толстом картоне, четкая, коричневая, из тех, что вставляли в обтянутые бархатом тяжелые альбомы – они заменяли собой галереи, увешанные портретами предков-аристократов. Альбомы лежали на столиках. После войны фотографии вместе с альбомами незаметно и стыдливо исчезли. Почему-то их заклеили как приметы мещанства вместе с фикусами и комодами. Верили этому, сколько раз ошибались и все же верили и с верой избавлялись от фикусов, от альбомов, от того, что связывало с прошлым, со своим происхождением.

...По датам, конечно, не сходилось, не мог отец быть среди тех мальчиков, не было его еще на свете, но какое это имело значение? Мне приходили на ум и другие люди, которые умудрялись, несмотря на все удары жизни, оставаться человечными, стойкими в своей доброте. Больше, чем других, настигали их разочарования, обиды, несправедливости. И все же они не поддавались злобе, цинизму, унынию. Что помогало им, что поддерживало их дух? Что обязывало их душу сохранять доброту, когда казалось это так невыгодно, когда все было против? Я никогда до конца не мог разобраться в том, как это происходит. И вот теперь я стал думать, что, может, им помогало какое-то воспоминание, принесенное из детства? Может, они посещали свое детство и оно прибавляло им силы? Может, там хранятся наши запасы безошибочной любви, доброты, радости, веры в будущее?..

1976

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!